



## СИРАНУШ

*Посвящается Е. Г. Паталову*

Мое знакомство с историей, о которой я хочу рассказать, началось в пуржистый камчатский вечер, когда дома раздался телефонный звонок. Каким-то особенным музыкальным слухом я не обладаю, но голоса по телефону различаю безошибочно. Стоит мне один раз услышать человека, чтобы потом я уже не спутал его ни с кем другим. Но в тот вечер дело было не в самом голосе. Впервые за долгие годы пребывания на Камчатке со мной говорили на армянском языке.

Человек напрашивался в гости. Родной язык на краю света был своеобразным паролем, и я объяснил, как до меня добраться. Вскоре в дверь позвонили.

Это был худущий высокий парень с нежным интеллигентным лицом, хотя, честно говоря, я никогда не смог бы объяснить, чем отличается интеллигентное лицо от неинтеллигентного. Я видел, как гость робел, пока снимал с себя тяжелое полупальто. Он, краснея, смотрел на свои валенки, и видно было, что не знает, как быть с ними: слишком уж много снега было на них налеплено. Гость все еще возился в прихожей, когда я спросил его шутливо:

— А как же вы, собственно, такой худой, попали на Камчатку?

— Я был еще худее, — сказал он, сняв наконец с ног валенки.

— Подберите вон там тапочки-чижи и проходите в дом, — предложил я.

Так я познакомился со своим земляком. По-настоящему разговорился он после того, как на столе появилась вторая бутылка питьевого спирта. Пил он как-то запросто и ничуть не пьянел. Я удивлялся: такой худой — и, как говорится, ни в одном глазу.

— Сами понимаете, — начал он, держа в руке граненый стакан, — не прийти к вам — это было бы даже глупо. Два армянина на краю света — и чтобы они не встретились...

— Правильно сделали, — сказал я, обратив внимание на то, каким он стал словоохотливым, — только раз уж пришли и мы начали вторую бутылку, то можно перейти и на «ты».

— Я не мог не прийти, — повторил он, словно не слышал, о чем я ему говорил, — нас здесь всего двое. Два армянина и край света. Я не мог... мне сейчас очень плохо...

— Кому сейчас хорошо? — попытался отшутиться я.

— Мне хуже, чем кому-либо. Я даже боюсь...

— Что-нибудь случилось?

До полуночи мой гость рассказывал о себе. Ничего особенного не случилось. Тривиальная история, старая как мир. Неразделенная любовь. Но, как мне показалось, мой гость был не совсем обычный. Он и не думал забывать свою возлюбленную. Она уже и замуж вышла, и родила, а он все не мог без нее. Он создал себе образ, с которым жил как с живым. Она никогда не будет принадлежать ему — это он знал твердо. Но плевать на благоразумие и на доводы рассудка. Главное то, что она есть, они живут в одно и то же время на этой земле. Ему и этого достаточно.

После ее свадьбы он удрал из Еревана и вдали от родного города понял, что ничего не изменилось. Узнал, что она родила дочь, и радовался известию. Удрал из родного города в далекую даль и уяснил для себя: никакого такого расстояния нет на свете. Она была недоступна в Ереване, как недоступна и здесь, на Камчатке. И тогда она была такой, когда еще не была замужем. Однажды он с ней даже разговаривал, но при этом вел себя так, что она его всерьез не принимала. И, конечно, нисколько не догадывалась, что он ее безмерно любит, что ночей не спит, что, может, оттого и худущий, что потерял покой. Не знала она и о том, что всю ночь он стоял недалеко от двора, где играли свадьбу, и слушал бойкую, развеселую музыку. Она не знала о том, что он начал пить, как не знала и того, что он сам себе устроил побег: побег из Еревана, побег от самого себя. Она не знала, что где-то рядом жил любящий ее человек, который наделал бы из-за нее глупостей, если бы не любовь к своей одинокой, несчастной матери. Сначала он с группой шабашников-строителей, которых называли «журавлями», подался в Приамурье, оттуда — на Сахалин, а с острова — на полуостров. Всего этого она не знала. И всего этого она не должна знать. Главное — она есть.

Только к утру, когда мы встали из-за стола, я обратил внимание: мой неожиданный гость не может стоять на ногах. Я уложил его спать на медвежьей шкуре, и он сразу заснул. А я еще долго ворочался на постели. Мне был непонятен этот странный мой земляк, с которым мы официально познакомились только после второй бутылки спирта. Он тогда сказал, что зо-

вут его Григором и что он не любит, когда его называют Григорием. А загадочен он был для меня потому, что любовь его была мне непонятна. Неземная она какая-то. А Камчатка меня приучила к реализму. Никаких абстракций, никаких иллюзий.

С мыслями о моем земляке я уснул. Но уже через пару часов, когда вся комната была залита розовым утренним светом, меня разбудил звон посуды, доносящийся из кухни. Я приподнялся на постели, подался вперед и увидел через полуоткрытую дверь кухни, как мой гость дрожащими руками поднес к губам стакан, налитый до краев, и жадно осушил его разом. Сомнений не было: это уже болезнь. Хронический алкоголизм.

И об этом она, конечно, тоже не знала.

\* \* \*

На Камчатке трудно жить без верных друзей. Конечно можно, но она, жизнь, будет невыносима. И чаще всего быстро оставляют полуостров те, кто так и не сумел обзавестись друзьями. Неверно говорят, что друг бывает один. Друзей бывает много. Они бывают разные. И каждым дорожишь, как родным братом. А когда разлучаешься с полуостровом, то меньше всего вспоминаешь вулканы, гейзеры и собачьи нарты. И больше всего — друзей.

Среди моих верных друзей особое место занимал начальник Петропавловск-Камчатского горотдела милиции Семен Гарелик. Мужик был могучего телосложения, лобастый, с орлиным гипнотизирующим взглядом. Фантастическим уважением пользовался он.

Когда Гарелик прохаживался по городу, все были уверены: в это время никакой драки нигде не будет. В последнее время и без того видная фигура Гарелика стала более заметной после того, как ему присвоили звание полковника милиции. Он уже носил стального цвета высокую каракулеву папаху с золотой кокардой, и город просто любовался им.

Полуостров знал, что мы с Гареликом близкие друзья. Часто совместно выступали на страницах местной печати. Он давал мне материалы, комментировал их, а я обрабатывал и писал. Дружба моя с грозным начальником милиции доставляла мне немало хлопот. И ничего удивительного в этом не было. У меня самого немало друзей, у них — свои друзья, не считая приятелей и знакомых. И конечно, у каждого рано или поздно что-нибудь да бывает связано с милицией. Кто паспорт просрочил, а ему завтра нужно вылететь на материк, кто подрался с бичами

в ресторане, кто в вытрезвитель попал и, разумеется, что угодно готов сделать, лишь бы не сообщили по месту работы. Да мало ли что!

Ко мне обращались за помощью даже те, кто сам числился, сам ходил в друзьях Гарелика. Им, видите ли, неловко, а вот мне можно, наплевав на совесть, хлопотать перед начальником милиции об очередном дебошире, который, конечно, трезвый — прекрасный человек, свой в доску, последнюю рубашку отдаст и вообще тихий-претихий. Но вот как напьется — его не узнать. Проклятая водка... А так — человек хороший. Жалко парня (парню иногда бывает за пятьдесят пять). Золотые руки. Танк пройдет по радиоприемнику, а он его соберет так, что лучше прежнего работать будет...

Когда, позвонив Гарелику, я начинал разговор издалека, он меня перебивал: «Кто он и что натворил?» Я четко и коротко докладывал, и, как правило, последние мои слова тонули в прерывистых телефонных гудках. Это означало: «У меня сейчас люди, я занят, а просьбой твоей займусь потом».

Я обратил внимание, что с теми, за кого я хлопотал, после ничего подобного не случалось. Дело в том, что почти с каждым из них беседовал сам начальник милиции. И такую устраивал им взбучку у себя в кабинете, что хоть уезжай с полуострова. Тяжелее, если не сказать — бесполезнее, было с хроническими алкоголиками. Эти краснели, робели, отводя глаза в сторону или глядя под ноги, клялись и божились, что в последний раз, но через некоторое время вновь попадали в вытрезвитель. И когда таких забирала милиция, то, собрав последние силы, они выдавливали слова: «Только чтоб Гарелик не узнал». И им, естественно, отвечали: «Делать нечего Гарелику, чтоб мы о каждом биче ему докладывали».

Некоторые дежурные по вытрезвителю уже знали меня, как знали и контингент, за который я хлопотал. И когда поздней ночью раздавался телефонный звонок, я уже догадывался, что кто-то из «наших» сейчас принимает холодный душ.

Не была исключением и та ночь. Дежурный не только, как это обычно бывало, сообщил мне об очередном визите моего приятеля в вытрезвитель, но и просил, чтобы я, если это возможно, явился туда сам. На мои расспросы он лишь ответил, что моего земляка привели и что его собутыльники заявили, будто парень намеревался вены себе перерезать.

В спешке я натянул на голое тело белый свитер из жесткой колючей шерсти, который накануне прислала мать с материка.

Вначале, сгорая, я ничего не заметил. Но уже по дороге почувствовал, что в тридцатиградусный мороз шерстяной свитер под курткой не только не греет, а скорее холодит. Я вообще не переношу, когда одежда колется или шекочет. Не думаю, что кому-нибудь это может быть приятно. Но у меня совсем другое, у меня просто болезнь какая-то. Даже когда смотрю, как в кино после взрыва бомбы песок сплошным дождем падает на головы людей, мне становится не по себе. В такие моменты, сознавая всю нелепость и абсурдность своих мыслей, думаю о чудовищной мелочи: песок попадает людям за шиворот — это же невозможно перенести. Достаточно мне увидеть малюсенькую крошку в постели — и долго не могу сомкнуть глаз. Все мне мерещится, что крошки еще остались. Вот такая у меня болезнь.

И вдруг все мое тело охвачено колючим плотным сплошным панцирем. Вытрезвитель находился у подножия сопки, рядом с популярным на полуострове кинотеатром «Камчатка». А я жил почти на вершине сопки. Каждая улица — это своего рода терраса. И пока я спускался по этим террасам и деревянным лестницам к вытрезвителю, думал — умру. Я чувствовал, что не только тело, но и лицо покрыто красными пятнами, которые обжигал мороз. У меня было одно желание: уменьшиться до таких размеров, чтобы не чувствовать прикосновения свитера.

Едва ввалившись в вытрезвитель, не успев перевести дух, я стал, к удивлению двух дежурных милиционеров, снимать свитер. Действительно, все тело было покрыто красными пятнами. Я часто вспоминаю тех дежурных милиционеров: усатого грузного Павла Сливу и юного, еще по-мальчишески тощего, с торчащим кадыком Юру Кузьмина. Вспоминаю больше потому, что они тогда, несмотря на несуразную и комическую ситуацию, не задали ни единого вопроса. По лицу поняли, что мне плохо, и первое, что сделал Павел Слива, — приказал Юре Кузьмину как можно быстрее притащить милицейскую хлопчатобумажную рубашку и шинель. Угостили они меня крепким чаем, и я начал отходить.

В маленькой камере стояли четыре железных кровати. Все они были заняты. Владельцы коек лежали неподвижно и, словно сговорившись, в одинаковой позе: свернувшись, как улитки. У самой стены лежал Григор. Видно было, что холодный душ принимал он не без посторонней помощи. Его мокрые черные волосы были взъерошены. Из широкого расстегнутого ворота белой отутюженной ночной сорочки торчало плечо. Оно было острым, как конец пастушьей палки.

Часа через полтора нам удалось привести Григора в чувство. Очнувшись, он долго хлопал длинными ресницами: не мог понять, где находится.

Свитер я надел поверх тонкой милицейской рубашки без погон. Благодать! Вроде бы мелочь в жизни, а почувствовал я себя просто-таки счастливым. С благодарностью подумал о матери, которая за годы моего пребывания на далеком и холодном полуострове, закидала меня различными свитерами и носками. Но этот, белый, из чистой колючей шерсти, был самый лучший. Позже я много зимних месяцев путешествовал в нем по Северу. Частенько приходилось спать в свитере, и я похваливал его, как можно хвалить хорошего человека.

Из помещения вытрезвителя, согретого сопящей железной печкой, мы с Григором вышли вместе и сразу же попали в объятия морозного воздуха. Нагнувшись, чтобы не так сильно жгло ветром лицо, мы начали взбираться на сопку.

— Ты, часом, не в милиции служишь? — спросил Григор, когда я дома начал переодеваться. — Откуда у тебя милицейская форма?

— Служу. Если бы не служил, ты бы сейчас спал на железной койке.

— Не помню, как я туда попал. Ничего не помню. Только...

— Ничего и не надо вспоминать. Спать надо лечь.

— Мне выпить надо. Иначе я не смогу...

— Можно и выпить...

— Ты это серьезно? — сказал он так заискивающе и с такой радостью, что мне стало не по себе.

— А тебе не кажется, что ты уже того?..

— Кажется, — довольно быстро согласился Григор. — Но мне и другое кажется: умру, если не выпью.

— Умирают оттого, что пьют.

— Это так. Но я сейчас могу умереть. Прямо сейчас, если не выпью. Лучше налей, пожалуйста.

Выпили вместе. Без закуски. Наверно, это был первый раз в моей жизни, когда пил не закусывая. Просто я знал, что Григору она не нужна, а сам я ночью никогда не ем. Пил же, чтобы поддержать его. Я не знал, как подступить к разговору о попытке самоубийства, и, может, поэтому решил выпить среди ночи.

— С кем ты сегодня пил? — начал я издалека.

— Можно тебя попросить?

— Да.

— Не спрашивай сегодня ни о чем.

- Хорошо. Не буду спрашивать...
- Мне вчера было плохо...
- Ты же просил, чтобы я тебя не спрашивал, а сам...
- Мне вчера было плохо, как никогда.
- Ты вчера хотел вены себе перерезать. Красивая была бы смерть. Молодой «журавль» прилетел из солнечной Армении, чтобы быть похороненным в вечной мерзлоте.
- Я о вечной мерзлоте как-то не подумал. Это даже хорошо. Тело дольше сохранится...
- Как у фараонов.
- Кто же тебе сказал, что я хотел вены перерезать?
- Дружки твои оказались благородными алкашами. А может, они перепугались. Ведь хлопот потом не оберешься. Пили-то вместе. Короче, они выволокли тебя из дома и на машине привезли в вытрезвитель. Дежурным сообщили, что ты грозился нынче ночью вены себе перерезать. Ты дружкам своим говорил, что раз уже вешался, но ничего из этого не вышло, помещали. А теперь, мол, нашел верный и надежный способ.
- Я сейчас припоминаю. Смутно припоминаю. Я действительно что-то такое говорил...
- Но только ли говорил? Ведь по пьянке можно и выполнить обещание.
- Можно и не по пьянке. Раз уж разговорились, все скажу. Я тут уже второй год. Мне никогда здесь не было хорошо. Но вчера мне было совсем невмоготу. Я получил письмо. Сирануш посадили. Ее судили...
- Ну и что из этого?
- Я люблю ее.
- Поэтому ты решил покончить с собой?
- Я не знаю, что решил... Налей еще, пожалуйста.
- Я налил только ему. Он выпил стакан, как пьют воду, и не поморщился, только стал больше раскачиваться.
- Тебе надо уехать отсюда, — сказал я. — Ты пропадешь здесь. В Ереван надо поехать.
- Я знаю, почему ты гонишь меня. Догадываюсь. Ты хочешь избавиться от меня. Я здесь тебя позорю. Слишком тесно нам вдвоем на Камчатке.
- А знаешь, ты прав, я как-то даже не подумал об этом. Ты ведь действительно позоришь меня. И не только меня. Армян ты позоришь. Кстати, мы с тобой вовсе не одни на полуострове. Армяне есть и в городе, и в районах, и даже на море (капитан сейнера!). Но никто из них не позорил нас.

— Ну, в России знают, что в Армении вообще нет вытрезвителей. Ни одного.

— Вот поедешь туда — и непременно откроют... А за что ее посадили?

— Я х-х-хочу спать, — сказал он заплетающимся языком.

\* \* \*

Кабинет Гарелика располагался на втором этаже старинного деревянного двухэтажного домика. В свое время этот дом был одним из видных в городе, но теперь на фоне блочных четырех-, пятиэтажных зданий выглядел просто сараем. Однако кабинет начальника милиции производил внушительное впечатление. Массивный полированный стол, мягкий диван с обивкой в клеточку, огромная карта на стене. Особенно солидно выглядел кабинет, когда за столом восседал его хозяин. Я всегда ловил себя на мысли, что здесь, в этом кабинете, к Гарелику отношусь как-то иначе, чем в других местах. Не так, как, скажем, дома или в кино (мы часто вместе ходили в кино). В кабинете я к нему относился только как к грозному начальнику милиции.

— Ну, что там опять натворили твои дружки? — спросил он после того, как подписал очередную бумагу, бесшумно подсунутую под руку дежурным милиционером с красной повязкой на рукаве.

— Разговор есть.

— О чем, вернее — о ком?

Я рассказал Гарелику о моем земляке, о его истории, о том, как ночью без помощи начальника милиции вызволил того из вытрезвителя. Рассказал все с подробностями. И добавил под конец:

— А сейчас он лежит у меня. Мертвецки пьян. Я сам дал ему опохмелиться.

— Уж не хочешь ли ты свою квартиру превратить в вытрезвитель или в психдиспансер?

— Нет, не хочу. Другого я хочу. Женщину, которую он безумно любит, посадили...

— Ты мне это уже говорил. А за что, кстати, посадили?

— Не знаю. Вы должны помочь Григору.

— Уж не думаешь ли ты, что моя власть простирается до твоего Еревана?

— Я так не думаю. Но вы, если это возможно, помогите узнать, где она сидит и за что. Я напишу ей. Наверняка ей самой там несладко...



- Всем там несладко...
  - Не надо обобщать. Я о другом. И потом, ведь о каждом из них, наверное, кто-то беспокоится.
  - Беспокоятся родные и близкие. А ты даже не знаешь, где и за что она сидит.
  - Я не о ней. Я ее не знаю, поэтому не беспокоюсь. Я думаю об этом сумасшедшем парне, который голову потерял. Я не корчу из себя филантропа. Так уж вышло. Так получилось, что я теперь не могу не беспокоиться о Григоре. Ту женщину я не знаю, но Григора-то я знаю...
  - Ты вроде оправдываешься в том, что хочешь помочь человеку.
  - Так уж вышло... Я должен что-то предпринять.
  - Ну хорошо, предположим, мы узнали все, что нужно, об этой женщине. И что потом?
  - Не знаю. Напишу ей, наверно. Расскажу о Григоре. А там посмотрим.
  - Выходит, пребывает женщина, как говорится, в местах не столь отдаленных. Сидит и мается. А тут вдобавок кто-то со своим горем.
  - И верно: сидит и мается. Вот и пусть знает, что есть человек, который любит ее...
  - Ладно. Не совсем уговорил, но принеси письмо, я посмотрю.
  - Я уже принес.
- Гарелик широко улыбнулся. Взял у меня бумагу. Пробежал взглядом и начал делать исправления. Нажал на кнопку. Вошла секретарша. Хозяин кабинета протянул ей лист бумаги и приказал отпечатать на бланке. «Сейчас же», — добавил он ей вслед.
- Ну, а что с этим алкашом думаешь делать, когда он выпится?
  - Вы тут мне идею дали. Напомнили про психдиспансер. Сегодня же договорюсь с главным врачом и повезу туда. Только принудительное лечение, иначе он погибнет.
  - Хочешь, позвоню главному врачу?
  - Нет. Мы с ним друзья. Я сам.

\* \* \*

Письмо в «фирменном» конверте, скрепленном сургучными печатями, дошло от Еревана до Камчатки довольно быстро. Я, помню, похвастался перед Гареликом: мол, знай наших, мол, видите, какие у меня земляки — точные и оперативные.

В письме говорилось о том, что Сирануш Леоновна Диланян, двадцати пяти лет, по образованию врач, была осуждена за преступную халатность, в результате которой последовала смерть гражданина такого-то. В нем также был указан адрес, по которому можно писать гражданке Диланян.

Одна, на мой взгляд, была допущена бестактность. В письме, адресованном начальнику горотдела милиции, напоминалось о том, что «переписка с подобными адресатами ведется в установленном законом порядке».

— Значит, Сирануш Леоновна Диланян кроме всего прочего и врач. Коллега, значит, — сказал я и сам же почувствовал неловкость от этого самого «кроме всего прочего».

Хорошо, что Гарелик не придавал значения моим словам. Он только сказал, протягивая конверт:

— Ну, вот тебе и адрес этой мифической Сирануш. И все-таки хотелось бы знать, о чем ты ей будешь писать.

Я тогда еще сам не знал, о чем буду писать «мифической Сирануш». Не было у меня никакого заранее разработанного плана. Думал, расскажу о судьбе Григора — и все. Собственно, так я и сделал. Написал о Григоре и, конечно, поинтересовался ее жизнью тоже. Посоветовал крепиться. Мол, всякое в жизни бывает. Главное — не сдаваться.

Письмо получилось длинным. Я вложил его в конверт, написал адрес, но не запечатал. Почему-то не хотелось сразу его отправлять. Был еще запас светлого дня, и я мог бы спуститься на почту. Но решил все же дождаться утра. Может, просто не хотелось выходить на улицу, а может, что-то другое... Помню, бывали случаи, когда я несся стремглав на почту, словно опаздывал на самолет, и, сдав письмо, возвращался в таком приподнятом настроении, словно выдержал экзамен по фармакологии. А тут не только не хотелось спешить, но будто кто-то придерживал меня: мол, подожди до утра, за ночь все равно не отправят письмо на материк.

Утром по радио передавали обзор местной печати, и я узнал, что в областной газете напечатали мой рассказ. Нет ничего приятнее, чем рано утром своими ушами услышать о том, что в газете, которую в эту минуту почтальоны разносят по домам, напечатан твой рассказ. Утро становится счастливым, день обещает быть добрым. Но хорошее настроение тогда у меня было не только от этого. Меня радовало, что предчувствие не обмануло меня. Я, конечно, знал, что выйдет мой рассказ, но не знал, когда именно. А тут накануне было предчувствие. Вот, чего скрывать,

чего обманывать самого себя, и хотелось дожидаться утра и вложить в конверт вместе с письмом и вырезку из газеты.

Идея, какая бы она нескромная ни была — если, конечно, так можно говорить об идее, — была мне по душе. Адресат прочтет не только письмо, но и «довесок» в виде газетного рассказа. Прочтет и подумает, что к ней с посланием обратился не какой-нибудь там философствующий выскочка, а человек, которого печатают в газете. «Довесок» должен был придать автору письма этакую солидность. А это очень важно. Ведь я хорошо себе представлял, кому пишу и, главное, куда пишу. Я не мог не сознавать, что в общем-то не очень это гуманно: обращаться к человеку в пору, когда ему самому невыносимо, с просьбой об оказании помощи другому человеку. Ведь, как бы там ни было, это главная цель письма.

Но часто ли мы задумываемся над тем, каково в данный момент тому, к кому ты обращаешься за помощью? Знают ли больные, когда на утреннем обходе к ним заглядывает врач, что у него на душе? Может, он слушает чужое сердце, а свое собственное в это время стонет от непоправимой беды. Помню, я получил телеграмму с материка о смерти деда. Я очень был привязан к нему, любил его, гордился, преклонялся перед его мудростью. И весть о его смерти потрясла меня. Я плакал навзрыд. В это время зазвонил телефон, и вдруг без всяких предисловий, хохоча, друг стал рассказывать какую-то «потрясающую новость». Я не мог бросить трубку. Друг ведь ничего не знал о случившемся. И говорить ему я ничего не мог. Он все тараторил, захлебываясь собственным смехом, а я держал трубку в вытянутой руке, продолжая плакать.

Я писал Сирануш, понимая ее нынешнее положение, ее состояние. Письмо ни к чему ее не обязывало. Так, по крайней мере, мне думалось. Если бы она не захотела связываться с бог весть откуда взявшимся корреспондентом, то могла бы просто ответить молчанием. Подумаешь, какой-то парень, который когда-то внушил себе, что любит ее. Мало ли что случалось «когда-то»...

И все же я писал ей то, чего она сама не могла знать. Она, может, когда-то догадывалась, что в нее влюблен какой-то долговязый парень с торчащим кадыком. Но она не знала тогда, как он любил, как страдал. Пусть она оставила бы мое письмо без ответа, но почему бы ей не знать, что кто-то не только очень ее любил, но и сейчас очень любит?

Не было такого дня, чтобы я не зашел в психоневрологический диспансер. Дела у Григора шли хорошо. Его кололи, пич-

кали таблетками и порошками. И даже давали водку, от которой его всегда воротило.

С Григором мы обычно беседовали в кабинете главного врача. Он все умолял, чтобы его выписали, считая себя вполне здоровым. «И вообще напрасно меня привезли сюда. Никакой я не алкоголик. Вот захочу и пить не буду», — не раз говорил он, на что ему отвечали, что все алкоголики так говорят. Лечащие врачи считали, что до окончания лечения еще очень далеко. Или надо выдержать до конца, и выдержать осознанно, или все эти многомесячные мучения пойдут коту под хвост.

Я как мог уговаривал Григора выдержать весь предписанный срок лечения. Он, на мой взгляд, изменился. Трудно было указать на конкретные перемены, но я не мог не заметить, как он изменился. Другими стали его глаза. Я их знал тусклыми, просящими, заискивающими. А теперь в них появилась гордость, я бы даже сказал — злость. Видимо, очнувшись наконец от кошмарного сна, он почувствовал стыд за себя, за то, что он пребывает в учреждении, которое, по его мнению, создано для людей ущербных.

Рассеялся туман, окутывавший Григора последние два-три года. К нему вернулось ясное сознание. Но это не приносило ему облегчения. Отчаяние не покидало его. В тумане было куда легче. Напившись, он хоть на время успокаивал тело и душу, и это его спасало. А теперь он с какой-то болезненной трезвостью сознавал, что впереди нет никакого просвета. Если раньше можно было забыться, чтобы хоть на час, хоть на миг избавиться от мучительных страданий, то теперь не было и этого.

Теперь он все с той же болезненной трезвостью понимал, что еще больше, чем раньше, любит ее. Еще сильнее. И весь ужас для него заключался в том, что он как мыслящий, думающий человек, как трезвый, наконец, человек независимо от своей воли подвергал собственные чувства какому-то, как он говорил, прозаическому анализу. Он размышлял: «Так, наверно, и должно быть. Когда слишком много отдаешь другому человеку, когда слишком велика бывает плата за то, чтобы только страдать, тогда хочется, чтобы твоя щедрость была хотя бы замечена».

Я не говорил Григору, что уже третий месяц регулярно получаю письма от Сирануш. В них было мало утешительного для него, а он находился в таком состоянии, когда наступал перелом. Маленькое упущение — и все могло пойти насмарку. Знакомство с письмами Сирануш только прибавило бы ему страданий. Она писала о себе, о своей жизни, наполненной

мытарствами. Ей хотелось с кем-то поделиться, кому-то излить душу. Вот, можно сказать, и подвернулся случай. Случай, похожий на того самого зверя, который на ловца бежит. «Зверь» в образе таинственного незнакомца, обосновавшегося на самом краю света и взявшего на себя роль опекуна сумасшедшего влюбленного. Но, пожалуй, самое главное — это то, что «зверь» этот был писателем. Неважно, каким — хорошим или плохим. По одному рассказу, напечатанному в газете, трудно определить. Главное то, что он писатель. А ведь никто на воле не знает, что все заключенные в мире мечтают не только о свободе, но и о том, чтобы хоть кому-нибудь излить свою душу. И разумеется, для этой цели писатель просто идеальный объект.

Сирануш писала длинные письма. Писала часто. Предупреждала, что вопреки установленному законом порядку о переписке она может отправлять письма часто, хоть каждый день. Возможность такая у нее есть.

В письмах она нередко повторялась. Иногда одни и те же эпизоды описывала по два, а то и по три раза. О моем же земляке, о Григоре, упомянула только однажды. Мысль ее сводилась к тому, что, мол, все это несерьезно. «Так не бывает, — писала она, — любил бы по-настоящему — добивался бы своего. А так — патологическое воображение. И вообще нет никакой любви. Одно только есть исключение в этом правиле — любовь к собственному ребенку. Вместо того чтобы играть в платоническую любовь, вместо того чтобы терзаться, топить себя в вине, мучить своих матерей, лучше бы мужчины боролись за жизнь, за справедливость. Никакой любви не признаю. Есть только справедливость, нуждающаяся в постоянной заботе, в постоянной защите».

То первое письмо ее было... как бы это поточнее выразиться... оно было злое, что ли. Сирануш и на мой счет прошлась: «Вы думаете: вот так, одним письмом можно спасти человека, можно вызволить его из беды. Вы написали письмо и, наверно, подумали, что выполнили свой долг. А там что будет — то будет. Я даже уверена, Вы не ответите на мое письмо. Ведь Вы свой долг уже выполнили, и никто не сможет Вас упрекнуть». Правда, в этих словах я видел скорее женское кокетство, чем желание поддеть меня. И еще я разгадал в них хорошо замаскированную хитрость. Она боялась, что и на самом деле мое первое письмо будет последним. А ей в ее положении очень не хотелось потерять неожиданно открывшуюся отдушину, и, чтобы этого не случилось, она стыдила меня, упрекала, так сказать,

авансом, на случай, если я откажусь от переписки. Я все это хорошо понимал. И, признаюсь, оттого, что подвергал ее слова, как любил говаривать Григор, «прозаическому анализу», мне было стыдно, тем более что мне самому хотелось продолжить разговор с ней. И желание это шло не от спортивного интереса или азарта, а от сердца.

В следующем письме я выразил несогласие с ней по поводу ее формулы о «любви и справедливости». Написал ей, что не надо противопоставлять друг другу любовь и справедливость, что любовь — это уже справедливость. Написал ей, что люди бывают разные, что мы оба врачи, представители так называемых естественных наук, и должны знать: в жизни всякое бывает. Нельзя утверждать, что не может быть. Люди бывают слабыми. Бывают такие, как Григор. И это — как цвет глаз. Как факт. А факты надо признавать, с ними нельзя не считаться. Слабые — тоже люди. Мир держится не только на сильных, но и на слабых. И потом — это слишком уж спорная штука: можно ли, скажем, того же Григора относить к людям слабым? А разве его искренность, его непосредственность — это не сила? Я писал, что разделяю мнение тех, кто презирает древнюю Спарту с ее «здоровыми» принципами только потому, что спартанцы избавлялись от слабых. Чахлах младенцев они сбрасывали со скалы. Спарте нужны были сильные люди. Ей не нужны были хлипкие Григоры. И она Григоров сбрасывала со скалы. А что получилось? Спарта погибла именно оттого, что вместе с хворыми, уродливыми младенцами сбрасывала в пропасть будущих поэтов и изобретателей, будущих влюбленных, которые страдали бы на глазах у изумленных людей, вызывая к себе, с одной стороны, жалость, с другой — зависть.

Влюбленным всегда завидуют те, кто лишен любви. А ведь хорошо известно, что слабый завидует сильному. Григору можно позавидовать. Он человек. Он такой, какой есть. И он не хочет быть другим, не может. Говорят: зачем Пушкин вызвал Дантеса на дуэль? Остался бы жить и продолжал бы обогащать мировую культуру. Но был бы Пушкин Пушкиным, если бы не вызвал Дантеса на дуэль?

Понимаю, сравнение не очень-то подходящее. Григор — не Пушкин. Но Григор тоже поэт. Он любит. Он любит по-своему. Так, как никто другой. И поступил тоже по-своему. Никто не вправе осуждать его, как никто не вправе осуждать поэта, вызвавшего противника на дуэль. Да, это вроде не по-мужски (по установившимся нынче стереотипам) — всю ночь просто-

ять недалеко от двора, где играют свадьбу твоей возлюбленной. Да, это недостойно мужчины — из-за безответной любви кончать жизнь самоубийством. Но судьи кто? Кто, когда определил, доказал и вывел, что достойно мужского характера, а что недостойно его. Лично я так бы не поступил, как Григор. Но в то же время я не осуждаю его. Мало того, я даже завидую ему.

Вскоре я уже ловил себя на мысли, что с нетерпением жду писем от Сирануш. Так уж получилось, что я ей писал в «установленном порядке», а она чуть ли не ежедневно. Так что это не была переписка в обычном смысле слова. И если я несколько дней не обнаруживал в ящике ее письма, то уже не мог скрыть от самого себя, что настроение портилось. Но не мог скрыть и радости, когда брал в руки письмо со знакомым почерком.

Иногда мне казалось, что Сирануш я знаю давно. Она рассказывала о своем детстве, и мне чудилось, что мы росли вместе, в одном дворе. Я ее представлял маленькой светловолосой курчавой девочкой с очень и очень счастливыми глазами. Потом, словно на киноленте, менялись кадры. Она стала взрослой. Волосы потемнели. И глаза сделались грустными, печальными.

Устроившись на топчане поудобнее, я раскладывал ее письма в хронологическом порядке и начинал читать все сначала. Я жил этими письмами. С каждым днем их становилось все больше и больше, и это меня радовало, как радуют заядлого коллекционера новые приобретения. И вот однажды, в который уже раз перечитав письма Сирануш, я захотел рассказать о них кому-нибудь. Кандидатура Григора, пришедшая мне в голову в первую очередь, была отмечена тут же. Плод не созрел. И рассказать ему о подробностях жизни Сирануш — это было бы по меньшей мере нарушением врачебной деонтологии.

И рассказал я все с самого начала до последнего письма Семену Гарелику.

\* \* \*

Сирануш была единственным ребенком в семье Диланянов. В доме у них был всегда достаток и счастье. Мать не работала. С детства маленькая Сирануш знала один порядок жизни: с матерью возилась на кухне, ходила с ней на базар и по магазинам, гуляла в просторных и в то же время уютных ереванских парках, а потом они ждали отца, который всегда возвращался в одно и то же время. Он приносил с собой в дом праздник. Сразу же становилось шумно, тепло, вкусно, весело. Он никогда не возвращался с пустыми руками: конфеты, игрушки, фрукты,

красивые безделушки. Однажды он у самых дверей вспомнил, что ничего у него в руках нет. Тогда он подарил дочери свою красивую ручку с золотым вечным пером. Дело в том, что у Сирануш ручки и карандаши терялись, как монеты из дырявых карманов. Отец даже говорил: «Куда деваются ручки и карандаши? Неужели дочка их ест, как конфетки?» Он приносил их пачками, а она их теряла. Только одно Сирануш знала твердо: нельзя трогать папину ручку с золотым пером. Нельзя, потому что папе нечем будет на работе заполнять истории болезней. И она не трогала. Не трогала, хотя и разрешалось ей залезать папе в карман. Она залезала и всегда повторяла: «К папе можно, а к другим нельзя, правда?» Отец неизменно повторял за ней: «Правда» — и смеялся. И вдруг легендарную ручку с золотым вечным пером подарили маленькой Сирануш. Она, конечно, вскоре потеряла и эту ручку.

Девочка любила рисовать. В доме было такое количество тетрадей и альбомов для рисования, что не раз гости спрашивали: «Кто у вас работает учителем?» Сирануш не знала, почему так спрашивали, но любила, когда говорили о ее тетрадях, о ее пристрастии. Ей не было и трех, когда она нарисовала на листе фигуру человечка. Все было в рисунке на месте. И глаза точечками, и нос черточкой, и лицо картошкой. Отец повесил рисунок на двери и сказал, что это останется на память. И чтоб не забыли, когда он был нарисован, в углу поставил дату. После этого девочка приставала к отцу и просила, чтобы он еще и еще вешал на стену рисунки. А отец говорил, что вешать нужно только наиболее удачные. И дочь удивлялась: «Если этот рисунок неудачный, то почему ты радуешься и целуешь меня?»

В тот год, когда Сирануш пошла в школу, умерла ее мать. Последние месяцы мать все время болела. Отец то увозил ее в больницу, то привозил обратно. Он не отходил от нее. Дочь видела, как страдает отец, и чувствовала, что в дом пришло несчастье. Ей не говорили, что мать смертельно больна и что она умирает. Дочь сама замечала, как мать, которая всегда была такой красивой, такой бойкой, вдруг высохла, пожелтела и стала очень некрасивой.

Больная мучилась от сильных болей. Ей часто делали уколы. И когда она умерла, даже маленькая Сирануш почувствовала облегчение, словно догадывалась, что смерть принесет матери избавление от невероятных страданий.

Отец не женился во второй раз. Он никогда не говорил, но Сирануш знала: отец не женился из-за нее. Несмотря на густую



седину, он выглядел молодо. Дочь гордилась тем, что ее отец строен и красив, что он нравится женщинам. Она не могла этого не замечать. Часто они вместе ходили в кино. А после седьмого класса отец регулярно водил Сирануш в театр.

Взрослея и усваивая премудрости жизни, Сирануш сама уже хотела, чтобы отец нашел себе, как говорят, спутницу жизни. Ведь рано или поздно дочь выйдет замуж и уйдет из дома. Такова жизнь. И он останется один. Но все же отец решил иначе. Вначале боялся, что мачеха не примет его дочь, как свою родную. А потом вообще никаких причин не искал. Просто Сирануш слишком была похожа на свою мать. И с годами сходство это усиливалось.

Отец уговорил дочь поступить в мединститут. Не хотела она вначале. Никак не могла забыть, как мучительно умирала мать, и винила медицину тоже. Тогда к ним часто заходили врачи и сестры в белых халатах, особенно в последние дни, и она убеждалась, что медицина не все может. Все же отец настоял на своем. Она согласилась еще и потому, что другого выбора не было. Уже в школе поняла, что все разговоры дома о ее способностях к рисованию — это детский лепет взрослых людей. Поняла, что рисование не для нее. В тринадцать она рисовала хуже, чем в три. Хотя, честно говоря, увлечение рисованием не прошло даром. Она полюбила искусство, особенно живопись. Увлекалась художниками, коллекционировала открытки и репродукции картин.

Другого выбора действительно не было. Только в медики. Математику не очень любила, а все остальное так или иначе связано с педагогикой. Учителемствовать же она не смогла бы — характер не тот. Так она думала.

Когда в душный августовский день Сирануш вышла с экзамена по сочинению на улицу, то у входа в институт она увидела отца с сигаретой во рту. Рядом гудела густая толпа. Всё женщины, матери абитуриентов. И чуть в стороне от этой многоцветной жужжащей толпы одиноко стоял мужчина и лихорадочно курил.

Сирануш решила стать хирургом. И стала. Уже на пятом курсе ей, активной участнице научного студенческого общества, доверяли самостоятельные операции, особенно во время дежурства. Правда, рядом всегда бывали многоопытные врачи, но так или иначе — все делала она сама. От начала до конца. И последний шов любила, после которого можно было выпрямиться и почувствовать приятную ломоту в теле. Ничего,

что операции были несложные: аппендэктомия да грыжесечения. Но ведь и они спасали людей. И потом — это было только начало.

Сирануш мечтала, чтобы о ней когда-нибудь заговорили как о великом хирурге. Отец ее всю жизнь был скромным, незаметным терапевтом. Даже не все соседи знали, что он врач. Правда, дочь не раз слышала, как коллеги называли его знающим врачом и прекрасным диагностом. И все же он был какой-то тихий, что ли, какой-то «чеховский». А ей хотелось другого. Мечталось о другом. И она старалась. Учебники и монографии по хирургии пользовались в их доме особым почетом.

В конце пятого курса, перед самой экзаменационной сессией, когда в ереванских садах и парках, на улицах и площадях идет белый тополиный снег, она поздно вечером вернулась домой и бросилась к отцу, повисла у него на шее.

— Что с тобой, доченька? — спросил отец, уже отвыкший от бурных ласк дочери.

— Не знаю, папа. Просто все хорошо.

— Не влюбилась ли?

— Папа, я никогда не оставлю тебя. Мы будем всегда вместе.

— Так не бывает, доченька.

— Я хочу, чтоб было так.

— В конце концов, не это важно. Важно, чтобы он был хороший человек.

— Он хороший человек, папа. Очень умный и начитанный.

— Умный — это совсем неплохо. Беда, когда мужчина глупый. Уж лучше кривой.

— Он очень умный. Юрист. Познакомились на выставке, в Доме художника. Если бы ты знал, как он разбирается в искусстве! Я перед ним как ребенок. Он всех художников мира знает.

— Так-таки всех?

Дочь еще крепче прижалась к отцу. Провела тонкими пальцами по его густым белым волосам и тихо сказала на ухо:

— А у меня тоже есть седые волосы. Это твои волосы. Только я их крашу.

— А кто его родители? — так же тихо спросил отец.

— Отец его тоже юрист. Работает в прокуратуре. А мать... мать нигде не работает. Но у нее высшее образование. Она хорошая. Она такая добрая, если бы ты только знал!

— Ну, а когда же ты приведешь его ко мне знакомиться? Как его хоть зовут-то?

— Ашот. Его зовут Ашот. Он очень стеснительный, папа.

— Это хорошо, что стеснительный. Терпеть не могу самодовольных нахалов.

— Нет, он очень стеснительный. Мать, насколько я определила, очень даже боевая. А Ашот — нет.

Сирануш не могла скрыть своей радости: отец благословил ее выбор. А вскоре даже заметила, что у отца исчезла из глаз какая-то грусть. Он стал другим. И глаза стали другими. На его лице можно было увидеть улыбку, как тогда, когда еще была жива мать. Сирануш хорошо помнила, как улыбался отец.

Узнав о том, что родители Ашота собираются, по обычаю, навестить его, чтоб просить для сына руки Сирануш, отец сказал дочери:

— Может, не надо, доченька? Я понимаю, обычай. Но чего спектакль разыгрывать! Все уже выяснено и уточнено...

И все же родители Ашота явились в отцовский дом. Сирануш, как того требовал обычай, демонстративно ухаживала за родителями своего жениха. Особенно следила за тем, как бы не пропустить движения или знака будущей свекрови.

А за столом больше всех говорила именно она, будущая свекровь, чувствуя себя хозяйкой положения. Она говорила о том, как любит Сирануш. «Сирануш мне как родная дочь», — часто повторяла она эту фразу.

Договорились о дне свадьбы, о том, кого следует приглашать в первую очередь, а кого можно и потом. Перед самым уходом будущая свекровь, дородная женщина с двумя подбородками, сказала, обращаясь к хозяину дома: «Жизнь жестоко обошлась с нашей Сирануш. Но Бог есть. Он вернул девочке мать. Отныне я ей мать».

Свадьба вышла на славу. В просторном дворе наскоро натянули брезентовый полевой шатер. Это уже для того, чтобы гости чувствовали себя уверенней, а то мало ли, пойдет дождь и все испортит. Дождя не было. Была музыка. Всю ночь играли музыканты. Одних только подарков надарили невесте на четыре тысячи. Об этом она потом узнала. Позже.

К утру, когда все стали расходиться, Сирануш увидела слезы на глазах отца.

Часто можно слышать от тех, у кого семейная жизнь не удалась, затасканную фразу: «Вначале все было хорошо». Сирануш писала, что если совместная жизнь не складывается, то она не складывается с самого начала и даже раньше. Она почувствовала неладное: уж больно «прирученный» был Ашот, который просто вилял хвостом в присутствии властолюбивой

матери. Кто-то когда-то назвал Ашота красивым рафинированным интеллигентом, и мать после этого по поводу и без повода часто повторяла эти слова, добавляя: «Одно плохо — у мальчика много завистников».

Сирануш понимала, что так, наверное, думают и говорят многие матери о своих детях. И в этом ничего противоестественного нет. Она словно оправдывалась, что решила было, говоря языком канцеляриста, подвергнуть анализу результаты своих наблюдений. Сама замечала, что когда приводишь отдельные детали и эпизоды, то начинаешь мелочиться, начинаешь блох ловить. Все эти «детали» и «эпизоды» в отдельности выглядят до того ничтожными, что выставлять их напоказ — значит самому себе вынести приговор. И она не рассказала мне о том, что же конкретно стряслось с ней. Я только понял, что она предчувствовала неладное еще до свадьбы, но подчинилась сложившимся обстоятельствам. Она находилась во власти инерции и во власти надежды. Люди всегда рассчитывают на лучшее. И еще ее гипнотизировало то, что отец изменился к лучшему, к нему вернулась улыбка. Она хотела верить, что все будет хорошо, и отвергла предчувствие.

Но, к несчастью, предчувствие не обмануло Сирануш. Я так и не понял, что оказалось последней каплей, переполнившей чашу терпения. Но, судя по всему, капля такая была. Иначе она не писала бы: «Я выбежала на улицу, и мне показалось, что попала в объятия самого счастья».

По вечернему Еревану спешила Сирануш, жадно вдыхая в себя живительный воздух. Она всегда любила вечерний воздух Еревана. Какая бы тихая погода ни стояла днем, к вечеру непременно поднимется ветер и принесет с гор в город спасительный свежий воздух, который казался Сирануш таким вкусным.

Она спешила к отцу. И сердце радостно билось в груди от одной только мысли, что она сейчас увидит его, обнимет, поцелует в седую голову. Она почти бежала по городу, и ей казалось, что весь вечерний Ереван наблюдает за ней, хорошо зная о том, какая огромная гора свалилась с ее плеч, как ей сейчас вольно дышится. Сирануш, конечно, понимала, что отец будет переживать, как бы он ни сознавал, что родная дочь вырвалась наконец из самого ада. Дочь ушла от законного мужа. Что там ни говори, а радости здесь мало. Что может быть драматичнее неустроенности, неопределенности. Ну, день пройдет, два, три. А дальше? Жизнь определяется мерками будущего. Сегодняшний день еще кое-как пройдет, но ведь есть завтра. Нет

жизни без веры в будущее. Жизнь в каком-то смысле — это планы. Да, скучное это слово — «планы». Но без них нет даже смысла жизни. У художника часто спрашивают: «Какие у вас планы на будущее?» А разве начинающий новую жизнь — не художник? Но какие теперь могут быть планы на будущее у женщины, сбежавшей от мужа?

Так и вышло, как предполагала Сирануш: ее приход домой и обрадовал отца, и насторожил. Дочь обратила внимание на то, что он был очень бледен. На столе стоял открытый аппарат для измерения кровяного давления. Она догадалась: приходил кто-то из коллег. Отцу было плохо: в последнее время он часто жаловался на сердце.

— Они тебя выгнали на улицу? — спросил отец, разглядывая дочь.

— Нет, папа, я сама ушла.

— Тебе было плохо?

— Да, папа. Ты только не волнуйся. Все будет хорошо. Вот увидишь. Совсем недавно мне было плохо. А сейчас — хорошо. Ты мне лучше скажи, как себя чувствуешь? У тебя опять сердце?

— Ерунда. Покалывало. Пришли, измерили давление. Все в порядке. Что теперь делать будешь?

— Как прежде, папа. Жить.

\* \* \*

Дочь не хотела рассказывать отцу все подробности. «Словами невозможно было передать все то, что произошло. То, что произошло, не поддавалось никакому анализу. Просто плод созрел, и он должен был упасть во что бы то ни стало. Я уже знала, что уйду от них, но решила уйти так, чтобы не оставить им надежды на возвращение, которое обычно бывает, когда люди остывают. Уже знала, что у меня будет ребенок. И решила сделать все, чтобы никто из них никогда не узнал, что у меня будет ребенок. Я уже тогда любила свое дитя, и уже тогда мне было страшно от одной только мысли, что эти люди будут считать его родным себе. Мой отец с самого детства воспитывал во мне чувство гордости, чувство собственного достоинства. Именно эти чувства отсутствовали у людей, с которыми меня связала судьба».

\* \* \*

Сирануш взяла академический отпуск. Обидно было конечно: оставалось всего каких-нибудь полгода до выпускных экза-

менов — и вдруг отсрочка на целую вечность. Но у нее другого выхода не было. Увеличивающаяся полнота становилась слишком заметной. Решила уехать на родину отца, в Зангезур. Там, в центре этого сказочного уголка земли, в Горисе, живет сестра отца, старая одинокая женщина, потерявшая на фронте мужа и двух сыновей. В последний раз Сирануш была там, когда еще училась в школе. Правда, сама тетя часто приезжала к ним в город, а вот Сирануш все никак не могла выбраться. Далеко. Да и дорога не из легких.

Отец часто навещал дочь. Как ни сопротивлялась она, он почти каждую пятницу отправлялся в тяжелую для его сердца дорогу, чтобы через два дня, к понедельнику, вернуться назад. Тетя говорила: «Нет худа без добра. Теперь хоть брата стала часто видеть».

В очередной свой приезд отец был в хорошем расположении духа. Не успел переступить порог дома, как поспешил сообщить дочери, что ее бывший муж требует развода. Дом наполнился радостью. Такое, казалось бы, противоестественное для счастья понятие, как развод, — и вдруг радость. Да еще в доме, известном некогда своими патриархальными устоями. И тем не менее это было так. Дочь и отец раньше просто скрывали друг от друга, что они боятся вмешательства этих людей в их жизнь, особенно когда родится ребенок. Тогда все начнется сначала. И вот теперь такой «спасательный круг».

Раз требует развода, значит, жениться собирается. Собственно, этого и следовало ожидать. Не могла бывшая свекровь, которую тамада за столом называл не иначе как «боевая женщина», не могла же она ударить лицом в грязь. Мыслимое ли дело, чтобы ее «золотой, талантливый сын» вдруг остался в дураках! Из-под земли, наверно, достала невесту. И достала, конечно, первую красавицу. «Бедная девочка. Как я сочувствую тебе... Прости, пожалуйста, что так устроен мир. Я, если по-человечески, должна предупредить тебя о том, что ждет тебя. Но не могу. Прости, но так устроен мир. И потом, чего скрывать, жертвуя собой, ты спасешь меня. А я сейчас больше всего думаю о моем будущем ребенке». Так она мысленно разговаривала с той неведомой девушкой, о существовании которой могла только догадываться. В Зангезуре Сирануш родила дочь. В честь своей матери назвала ее Сусанной. Только на третий день после родов отцу разрешили встретиться с дочерью. Он все улыбался, вытирал краешком платка слезы. Дочь тоже улыбалась отцу, не переставая с какой-то тревогой всматри-

ваться в его глаза. Они у него как бы потускнели, словно выцвели. Он продолжал улыбаться, но, как ни старался, не мог скрыть сильной боли в груди.

— Тебе плохо, папа?

— Что ты, доченька. Как мне сейчас может быть плохо? Это я от радости.

— Это все из-за меня. Ты намаялся. Каждую неделю ездить в такую даль...

— Ну что ты! Это для меня как отдых. Я люблю дорогу. Так хорошо здесь себя чувствую! Как-никак родные горы, родной воздух.

Отец уехал рано утром, обещав, что к концу недели вернется и проведет весь отпуск в Горисе, рядом с Сирануш и внучкой. Он уже договорился на работе.

Это было впервые, когда отец не выполнил своего обещания. Вначале врачи не хотели передавать роженице страшное известие. И все же, поразмыслив, решили сказать правду немедленно, до того, как она сама, терзаясь догадками, узнала бы обо всем. Ведь отец не мог не прийти к ней, к Сусанне, как обещал, — только в случае, если бы был мертв.

Сирануш не смогла даже выехать на похороны — врачи не разрешили. Это было слишком опасно и для нее, и для ребенка.

Говорят, человек, задумываясь над прожитым и пережитым, чаще всего произносит слово «если». Вот и Сирануш, рассказывая о том, как складывалась ее жизнь после смерти отца, то и дело повторяла это самое «если». Если бы не было тети, сестры покойного, то вряд ли выжила бы маленькая Сусанна. Если бы не тетя, то никогда Сирануш не смогла бы окончить институт и стать врачом.

По окончании института Сирануш не оставили в городе. Родилась и выросла в Ереване. И квартира есть своя. Но все равно отправили в район. «Честно говоря, не очень-то старалась остаться в столице. Начать самостоятельную жизнь хотелось где-нибудь подальше от глаз любопытствующих и тех, кто, не скрывая своей жалости, вечно интересовался моими делами: мол, бедняжке тяжело одной, трудно с ребенком, без отца, без матери, без мужа, который, конечно, жестоко обошелся с ней, несчастной. Больше всего бесило то, что никто даже не сомневался, что именно муж бросил меня. Иначе ведь не бывает. Не дура же женщина, чтобы с малышом на руках захотелось жить в одиночку. Так что подальше от “сострадальцев”. Сама пожелала ехать в район».

Место своего назначения, своей работы, Сирануш так и называла — «район». Ни географических названий, ни личных имен. По описанию можно было догадаться, что работала она в небольшом городке или поселке городского типа. Она писала, что жила в многоэтажном, многоквартирном доме, а называла это место захолустьем.

На работу приняли сразу. Но с первого же дня ее не приняли соседи. Вернее, соседки. Вмиг узнали о ней все. И то, что у нее где-то есть ребенок, и то, что она не замужняя, но и не вдовая, и то, что волосы крашенные. Даже через месяц-два, когда к ней на время переехала тетья с маленькой Сусанной, даже после этого соседки не приняли ее. С ней здоровались лишь мужчины, и то многие это делали украдкой, так, чтобы не заметили жены.

Для соседок Сирануш была разведенкой, которую, «конечно», «разумеется», «естественно», «иначе быть не может», бросил муж. А мужья, известное дело, хороших жен не бросают. Никто не знал, почему ее двухлетняя дочь находилась то в Зангезуре с тетей, то с Сирануш...»

Несладко было Сирануш и на работе, в районной больнице. В профессиональном отношении вроде бы даже все шло хорошо, но никак она не могла понять, как относится к ней начальство. «Главный врач был мужем заведующей хирургическим отделением, а заместитель главного врача была замужем за заведующим терапевтическим отделением». Помню, когда получил письмо, в котором было об этом написано, то на бумаге пытался графически изобразить этот семейственный ребус.

Заведующая хирургическим отделением, где работала Сирануш, казалось, даже обрадовалась, когда узнала, что новенькая — разведенная. Она даже по-своему, стараясь сохранить менторский тон, успокаивала Сирануш: мол, все еще впереди, она достаточно молода и очень даже красива.

С первых же операций заведующая определила, что Сирануш — человек способный, что у нее хорошая рука, работает без суеты, дело знает, следит за новинками. Это и радовало заведующую, и огорчало. Радовало потому, что она теперь могла быть спокойной: как-никак на ней лежала ответственность за целую службу в районе. А огорчало потому, что, вполне естественно, о способностях новенькой рано или поздно поползут слухи. А это уже беда. Никуда не денешься: профессиональная ревность. Весь район только ее, заведующую отделением, при-



знает настоящим хирургом, о ней уже складывают легенды. Авторитет она заработала, надо сказать, своим талантом, талантом незаурядного хирурга. И вдруг на горизонте появился соперник. Горизонт — далеко еще. Соперник — пока малыш. Но все же.

Сирануш не раз признавалась своей заведующей, что ей просто привалило профессиональное счастье: не каждому повезет вот так, в начале трудового пути, встретить знающего, многоопытного учителя, наставника.

«Но было легко и хорошо только за операционным столом. «Легко и хорошо» — я, разумеется, имею в виду в душевном отношении. А то вы, сами врач, еще подумаете, что баба совсем потеряла чувство меры, что ей уже хорошо и легко за операционным столом. Заведующая действительно мне очень доверяла. И я готова была не выходить из операционной. Собственно, когда дочка и тетя уезжали в Зангезур, я почти круглые сутки пропадала в больнице. Но зато я просто теряла покой в ординаторской. Здесь мою заведующую словно кто подменял. Каждым словом она будто хотела добиться одного: указать мне мое место. И я, уважая ее как опытного специалиста, терпела. В конце концов, думала я, мне нужно стать хорошим хирургом, а условия здесь преотличные. В больнице чистота, порядок, дисциплина — надо отдать должное заведующей. То, что я делаю здесь за месяц, я знаю, в городе выпускники не сделают и за год. Заведующая хоть женщина и с амбицией, но прекрасный оператор. И потом, я не очень придавала значение ее слабостям. С некоторых пор стала замечать, что амбиция — вообще болезнь врачей. Особенно она проявляется у великовозрастных коллег по отношению к тем, кто недавно «пешком под стол ходил». Сколько раз мне приходилось слышать слова, которыми во время споров просто затыкали рот: «молода еще», «зелена», «без году неделя», «молоко на губах не обсохло»... и, конечно, знаменитое: «Когда я спасал людей, ты тогда пешком под стол ходила». Вот такие иногда бывают «аргументы» у нас в спорах.

В нашем отделении была еще одна новенькая. Она окончила институт на год раньше меня. Работала хирургом, но к хирургии ее не тянуло. Мода. Была возможность устроиться хирургом — устроилась. Ассистировала как-то нехотя. Быстро уставала. Однажды она призналась, что мечтает стать косметологом. С ней заведующая никаких дебатов не разводила, хотя за глаза называла бездарью. А так очень мило улыбалась

ей. Та новенькая была замужем за каким-то ответственным работником».

В тихий, не предвещающий никакой грозы воскресный день Сирануш дежурила в больнице. Все было спокойно, пока не привезли необычного больного. Сирануш позвонила заведующей домой. Случай и в самом деле был необычным. Привезли больного в сопровождении двух дюжих милиционеров. Здоровенный детина со скуластым лицом, широкими плечами и бычьей шеей лежал на кушетке скрючившись, обхватив обеими руками живот. Выяснилось, что он проглотил одну за другой чуть ли не все костяшки домино.

Обычно молчаливая и даже не по возрасту и стажу серьезная во время операции, Сирануш на этот раз позволила себе даже шутить. Вытаскивая из желудка костяшки домино, она то и дело вслух произносила: «шесть — два», «четыре — один», «ваш ход, сестра» и все в таком духе.

— Сыграем мы с тобой партию? — сказала она, улыбаясь глазами ассистирующей сестре и выкрикивая очередные цифры костяшки.

— Это же не лото, доктор. Это только в лото выкрикивают цифры, — весело ответила сестра, подавая хирургу зажим.

— Да? А я и не знала. Никогда не приходилось играть в домино.

Операция, как принято писать в газетах, прошла успешно. Хирург извлек из желудка «доминоеда» (так его прозвали с первых же минут санитарки) восемнадцать костяшек. Таким трофеем не каждый хирург мог бы похвастать.

На следующий день Сирануш во время утренней конференции доложила о своем дежурстве, подробно остановившись на истории болезни пациента, привезенного из тюрьмы. Стараясь держаться как можно скромнее, она продемонстрировала свои трофеи. Подробно отвечала на вопросы. Только вот ничего внятного не смогла сказать о том, за что посадили человека, пытавшегося таким странным манером покончить с собой, и почему, собственно, тот собирался это сделать. Ей не до этого было. И больному было не до разговоров. Она и в самом деле не задумывалась над тем, за что человека посадили. Только в конце своего выступления на утренней производственной конференции, как нынче именуют «пятиминутки», она выразила сожаление, что уже целую неделю в больнице не работает рентген, который сейчас очень бы пригодился. Ведь могло так случиться, что одна из костяшек прошла бы через желудок в две-

надцатиперстную кишку. Маловероятно, но всякое ведь бывает. На это замечание главный врач сказал, как он обычно говорил в таких случаях: «Послушать вас, так выходит, что вы больше моего печетесь о больнице. Поработали бы на моем месте — знали бы, почему фунт лиха. Знали бы, что такое иметь дело с медтехникой, с ремонтниками. Будет, будет вам рентген. Уже договорился».

После утренней конференции к Сирануш подошла операционная сестра и тихо, словно боясь, что кто-нибудь услышит ее, предложила поехать в тюрьму и разыскать там остальные костяшки. Такое Сирануш и в голову не могло прийти. Она и не знала, что игра домино состоит из двадцати восьми костяшек. Значит, надо найти остальные десять. Она с благодарностью посмотрела на сестру, радостно улыбнулась ей и сказала, что непременно воспользуется ее советом.

Но в тюрьму ей поехать не пришлось. Милиционер, дежуривший у палаты оперированного, сказал, что десять костяшек обнаружили после того, как узнали, что подследственный проглотил часть их. Он еще добавил, что кому-то будет нагоняй за это самое домино. От него Сирануш узнала о самом подследственном. Личность непонятная: то вроде бы нормальный человек, а то вдруг выкинет такое, что впору вызывать психиатра. Четверо детей. В доме достаток. Бондарь он. Делает деревянные бочки крепче железных. Но вот иногда, особенно после пьянки, вселится в него бес (в деревне говорили: «Приходят к нему козы», — не знаю, почему так говорят в народе) — и тогда берегись! Рассказывают, что у парня было что-то душевное, но в тихие периоды он бывал нормальным семьянином, и никому в голову не приходило показывать его невропатологу или психиатру. А посадили его за попытку убить председателя колхоза. Попытка была не абстрактная, и его взяли под стражу именно тогда, когда к нему «пришли его козы».

Дня через два состояние оперированного резко ухудшилось. Все было хорошо накануне. Температура нормальная, живот мягкий. Но вдруг температура подскочила, и больной стал кричать от боли. «Я никак не могла определить, где болит. Он же — я не писала вам об этом — вел себя вызывающе с самого начала. Пугал, страшал, хохотал. А после операции сказал, что все равно рану разворотит, и все потому, что жить ему на этом свете нельзя. Он так и говорил: “нельзя”. Не “не хочется”, а “нельзя”. Я с самого начала не придавала его поведению особого значения: делала свое дело. Надо было спасти человека, а там,

как говорится, видно будет. А если уж захочет наложить на себя руки — все равно добьется своего. Я его спрашиваю, где болит, он не хочет отвечать или говорит: “Все болит”. Или же показывает рукой на сердце и добавляет: “И здесь болит”.

Я боялась смотреть в глаза моему пациенту. Корчась от боли, он улыбался или пытался улыбаться. Такое было впечатление, что человек, которого я спасла, с иронией говорит мне: мол, рано радуешься своей победе...»

Дома все валилось из рук. Сирануш никак не могла сосредоточиться. Читала статью в журнале, не улавливая смысла прочитанного. Старалась думать о чем-то другом, но мысли ее возвращались к «странному больному», который, чуть успокоившись после укола, процедил сквозь зубы непонятную фразу: «Сам вор, а меня считает дураком за то, что не умею воровать. Убью, гада!»

Но Сирануш терзали другие мысли. Чисто профессиональные. Она никак не могла понять, что же случилось с больным. Ведь все вроде бы шло нормально. Больше всего она боялась, что допустила какую-то оплошность во время операции. И в который уже раз шаг за шагом, миллиметр за миллиметром она мысленно прокручивала в голове весь ход операции и успокаивала себя тем, что не могла найти никаких изъянов. Ругала только за то, что позволила себе шутить.

Ночь тянулась, как год. Спать она не могла и то и дело поглядывала в сторону неплотно зашторенного окна, ожидая появления первых признаков рассвета. Иногда чувствовала, что вот-вот провалится в сон, но всякий раз неожиданно вздрагивала, словно постель была наэлектризована. Она отчетливо видела перед собой скуластое лицо, искаженное болезненной улыбкой. Ее не покидало тревожное предчувствие. И когда рано утром, еще на пороге больницы, Сирануш сообщили, что больной скончался, она поймала себя на том, что не удивилась этому известию.

Через час после начала рабочего дня туманное небо, нависшее над просторным больничным двором, пронзил истошный крик. Медперсонал в белых халатах и больные в пестрых помятых одеждах бросились к окнам. Во дворе толпились люди. Разделившись на две группы, они держали за руки двух молодых кричащих женщин с распущенными волосами. Время от времени те пытались прорваться ко главному входу больницы, таща за собой растерянных мужчин, но всякий раз милиционер и санитарки преграждали им путь.

Сирануш первая отошла от окна. Она молча села на кушетку, покрытую белой простыней с синей квадратной инвентарной печатью посередине. Уставившись на белую стену, увешанную плакатами, таблицами, диаграммами, она думала только об одном: что покажет вскрытие?

Со двора продолжал доноситься шум, ворвавшийся в ординаторскую через открытую форточку. Кто-то из толпы, воспользовавшись минутной тишиной, крикнул: «Убийцы!» — и шум возобновился. Отвернувшись от окна, заведующая сказала, обращаясь сразу ко всем:

— Сирануш нужно вывести черным ходом. Иначе ее растерзают.

— Никаким черным ходом я не воспользуюсь. Я не совершила преступления, — тихо и спокойно проговорила Сирануш, не поднимая головы.

— Ну, это еще посмотрим, — твердо и жестко сказала заведующая и, выходя из ординаторской, добавила: — Вскрытие покажет.

Присутствующие молча смотрели на дверь, которая закрылась за заведующей, не сразу поняв смысл ее последней фразы.

Сирануш не присутствовала на вскрытии. Приглашали конечно, но она отказалась пойти в морг. Решила не вмешиваться и покорно ждала сообщения о результатах.

Когда в кабинете заведующей хирургическим отделением районный прозектор сделал, как выразился он сам, предварительное сообщение, то все пришли в замешательство. Сама Сирануш, как, впрочем, и другие врачи, не смогла сразу уяснить для себя, хорошо это или плохо. У покойного в кишечнике нашли черенок от сломанной алюминиевой ложки. Черенок застрял в сигмовидной кишке, продырявив ее как бурав. Все, что произошло потом, вернее, почему и как произошло потом, — понятно студенту третьего курса. Перфорация кишечника вызвала перитонит — воспаление брюшины, и большой от этого и скончался.

«Вначале я не могла все это переварить, осознать, у меня было какое-то двойственное состояние. Как хирург я была реабилитирована полностью, потому что смерть не была связана с произведенной мной операцией. Но я понимала и другое: я не только по специальности хирург, я еще по профессии врач. И что бы там ни было, как бы там ни было, я проворонила инородное тело, которое, конечно, не могло не

давать определенные симптомы и признаки. Ах, если бы тогда у нас работал рентген! Хотя, если честно, не думаю, что после того как были обнаружены все двадцать восемь костяшек, возникла бы мысль о необходимости рентгена. Не будешь же без стопроцентной надобности тащить оперированного больного на просвечивание. И потом, раньше и рентгена-то никакого не было. Я должна была, после того как у больного повысилась температура, не сбивать ее антибиотиками, а искать причину. А я все сводила к одному: послеоперационный фон...

Только теперь я вспоминаю, как он, кривя лицо в неестественной улыбке, словно издевался надо мной. Он-то знал, что, прежде чем проглотить костяшки домино, «съел» черенок от ложки. Я держала в руках этот холодный обломок, трогала пальцами острые зазубрины кончика, и у меня мороз проходил по коже. Какой-то жалкий кусочек легкого металла — и человека не стало. Да еще судьба другого человека висит на волоске. Спасительные версии о том, что он был невменяем, что к нему «пришли его козы», что он, разумеется, душевнобольной, иначе не наложил бы на себя руки, — все это меня не успокаивало и не оправдывало. И потом, я никогда не разделяла мнения, что жизнь кончают самоубийством только душевнобольные. Было еще и другое. Человек умер. При жизни диагноз не был установлен. «Козы» — это еще не аргумент. Так что нечего было оскорблять память покойного всякого рода посмертными подозрениями. Так или иначе дети остались без отца, жена — без мужа. Не забывала я и его странную фразу: «Сам вор, а меня считает дураком за то, что я не умею воровать. Убью, гада!»

В больницу приходили комиссии — одна за другой. Определили: я нарушила множество пунктов инструкций. Раньше мне и в голову не могло прийти, что нас окружает такое количество всяких правил и параграфов. Я обязана была о надвигающейся угрозе перитонита доложить начальству и сделать об этом соответствующую запись в истории болезни, где была отмечена появившаяся высокая температура. Там же моей рукой было написано, что «живот твердый», так что послеоперационный фон послеоперационным фоном, а симптомы симптомами.

Руководство больницы смотрело на меня двойственно. И я вполне понимала. С одной стороны, им хотелось защитить меня, чтобы отвести тень от больницы, пользующейся непо-

хой репутацией; с другой стороны, я уже принесла им немало хлопот, нарушила их мирный и мерный ритм жизни, и этого мне не могли простить.

Комиссии, почти все, пришли к заключению, что лечащий врач допустил лечебно-тактические ошибки, которые, правда, можно квалифицировать как добросовестные. Меня, помню, все время удивляло словосочетание «добросовестные ошибки, добросовестные заблуждения». Никто не мог определить меру наказания. Речь вначале шла о наказании административном. Но постоянные звонки «сверху», все новые и новые визиты начальствующих персон вскоре дали понять, что дело осложняется не на шутку. Как выяснилось, родственники умершего ежедневно ездили в Ереван. Они грозились. Пугали, страшали. Давали в Москву телеграммы. Требовали только одного: наказать виновного.

Следователи менялись часто, и я думала, что так и должно быть на самом деле. Каждый из них останавливался на полпути, завершая свои записи: «Нет состава преступления». Только одна я знала, что есть состав преступления. В подобных случаях больных можно спасти. Но следователи искали причины такие, которые, по их выражению, можно было бы трогать руками. И каждый раз, когда, казалось, были поставлены все точки над «і», все начиналось сначала. Я уже знала, что меня все равно будут судить».

До суда Сирануш находилась на свободе. Дочь и тетю отправила в деревню, не дав им побывать у себя даже неделю. Слишком мала была девочка и слишком стара тетя, чтобы видеть, как страдает Сирануш.

Дни, полные ожиданий, протекали для Сирануш как никогда медленно. Не суда и не наказания она боялась. Больше терзалась оттого, что сама, наедине с собой, со своей совестью, не могла четко ответить на естественный с ее точки зрения вопрос: как бы она поступила, если бы все началось сначала. Где, в какой монографии, на какой странице Большой медицинской энциклопедии написано о том, как ведут себя послеоперационные больные, проглотившие восемнадцать костяшек домино, и какое бывает у них послеоперационное течение? Где можно прочитать о том, что у человека, жаждавшего покончить с собой, перитонит проходит точно так же, как у остальных? Как, скажем, у Пушкина, который, как известно, скончался от мучительного разлитого перитонита. Не получив ответа на эти вопросы, Сирануш не могла ответить на главный: виновата ли

она перед четырьмя осиротевшими детьми, перед овдовевшей женщиной-матерью?

Прерывистый ход терзающих ее мыслей нарушил громкий стук в дверь. Сирануш даже вздрогнула. Редко когда стучались к ней, да еще в вечернее время. «Даже и не могла вспомнить такого случая».

В каком-то замешательстве она открыла дверь и замерла. У порога стояли соседские женщины. Те самые женщины, которых она страшилась, когда проходила мимо блиндажа-беседки. Одну из них, толстенную, округлую как снеговик, она запомнила особо. Давно это было, в первые дни после вселения в этот дом. Проходя мимо толстушки, Сирануш слышала от нее нечто вроде: «Совести нет у человека. От мужа сбежала и все мажется, как уличная». Сирануш тогда даже не обернулась, но, придя в больницу, разрыдалась. И вдруг та же самая женщина со своей гвардией постучалась к ней в дверь...

— Проходите, — тихо сказала Сирануш, с трудом скрывая замешательство.

— Мы тут вот... решили в гости к вам, — сказала запинаясь толстушка и вошла первая.

За ней последовали еще трое. У всех у них руки были заняты. Сирануш только успевала замечать, как они, одна за другой, быстро юркнув в кухню, так же быстро вернулись, толкая друг друга в тесном проходе. Возвращались уже разгруженные.

Немного погодя Сирануш узнала, что до них дошел слух о беде соседки, и они решили утешить ее. Выяснилось, что долго гадали, как быть, и вот, поразмыслив, пришли к единому мнению. Нажарили картошки и котлет, купили на базаре абрикосов и цветов и с таким грузом явились в гости. Не забыли прихватить с собой и бутылку красного.

— Ну, а еду зачем? — спросила уже после, за столом, развеселившаяся Сирануш. — Неужто у меня дома не нашлось бы что быстренько состряпать?

— А чего стряпать, когда решение пришло нам в голову прежде, чем мы явились сюда? — сказала толстушка.

Все расхохотались, и, судя по тому, что начали смеяться раньше, чем толстушка закончила говорить, было ясно: не очень-то поняли смысл ее слов. Женщины шутили, смеялись, успокаивали, плакали.

Когда соседки, расцеловав хозяйку дома, ушли, Сирануш разрыдалась. Стояла посреди комнаты и громко плакала. Понимала, что плачет от охвативших ее радостных чувств, и все



никак не могла успокоиться. «Хотела я выскочить в полутемный подъезд и закричать во все горло. По философии проходили, что думаем мы словами. Так вот: мне тогда, в ту минуту, я хорошо помню, думалось, если можно так выразиться, мужскими словами. Хотелось даже, чтоб у меня был бас и чтоб меня слышали все женщины из блиндажей-беседок, установленных у входа в наш дом и входов всех домов. Хотелось им сказать: мерзавки вы разэтакие, бабы распроклятые, почему вы скрываете в себе свою доброту, прячете, как иные талант зарывают в землю? Почему вы выставляете напоказ не существующее в вас зло? Что это за чудовищная игра? Мне хотелось кричать вслед моим соседкам, остановить их, подойти поближе и сказать им то, о чем я думаю всегда. Сказать: мерзавки, вы же дочери тех несчастных матерей, которые на своих плечах, в своих ладонях выходили, вынынчили, спасли умирающую нацию! Как же вы могли возненавидеть меня за то, что я теперь мать-одиночка? Глупое слово «одиночка», я понимаю. Но ведь я не просто одиночка. Я — мать. Как же вы, родные мои, как вы могли смешать все в одну кучу: и беду, и вину?..»

Вина Сирануш была установлена судом. Справедливо это или нет, но еще до суда все знали о его исходе. Знали, что никакого спасения не будет. Слишком много шума. Надо было что-то делать. Просто это тот случай, когда чересчур соблюдали букву и дух закона. Хотя сами юристы говорят, что, переусердствовав, можно нанести вред самому закону, который непременно учитывает личность обвиняемого. После речи адвоката даже родственники покойного разжалобились. Но было поздно. Камень брошен, и его невозможно вернуть из полета. Да, камень должен был где-то упасть. И он упал. Сирануш дали два года и взяли под стражу тут же, в зале суда.

\* \* \*

Я пересказал эту историю начальнику милиции Семену Гарелику у себя дома. Пересказал, что называется, кусками, цитируя письма, которые лежали на столе. Когда при очередной встрече я дошел до суда и стал собирать письма, Гарелик спросил:

— Ну, а что дальше?

— А дальше я не знаю, — сказал я. — А что, собственно, дальше? Сидит она теперь в тюрьме — и всё.

— Ну, положим, теперь она сидит в колонии. Но я о другом хочу спросить. А как тот?.. Ну, как его?.. Бывший ее муж, юрист?

— Этого я не знаю. Я вам рассказал только то, о чем она пишет в своих письмах.

— Одно я могу сказать: женщине надо помочь. Как-то поддержать, — поставил точку Гарелик и стал прощаться.

На следующий день я решил навестить Григора. Ехал к нему с намерением рассказать о Сирануш, о ее жизни во всех подробностях, известных мне по письмам. До окончания срока лечения оставалось мало времени, и я уже не боялся, что могу повредить земляку. Я даже думал, что уже нельзя молчать. В конце концов, все началось не просто с Григора, а для Григора. И может, презрев каноны медицинской деонтологии, я давно раскрыл бы перед ним тайну моей переписки с Сирануш, если бы она хотя бы в одном письме упомянула о нем. Женщина, исповедуясь, рассказывала о своей жизни, и в этой жизни не было никакого Григора.

Беседовали с земляком, как всегда, в кабинете главного врача. Я пересказал содержание писем, но не так подробно, как Гарелику. И когда закончил рассказ, Григор встал с кушетки, подошел к окну, словно что-то искал там за мутным, как бельмо, стеклом. Наступило молчание, и слышно было, как за окном подвывает ветер.

— Как там погода? — спросил Григор не оборачиваясь.

— Как всегда, камчатская...

— Мне нужно выписаться. И сегодня же.

— Подожди еще чуть-чуть. Мало осталось. Пусть все будет по правилам.

— Я вполне здоров. Даже поправился на пять килограммов.

— Тебе нужно долечиться. Пойми, это как беременность: срок нужен. Торопить нельзя.

— Ничего, говорят, семимесячные живут не меньше других. Я должен выписаться и завтра же поехать.

— Что же ты там будешь делать?

— Буду находиться рядом.

— В женской колонии?

— Нет, в одном городе. Под одним небом.

Дня через два ранним осенним утром мы с Григором поехали в аэропорт. Он все время высовывался из окна машины и поглядывал на небо, чтобы узнать, как там погода.

Погода была отличная. Самолет вылетел вовремя. Редкость на полуострове. Хорошее предзнаменование.

Жизнь моя после отъезда Григора текла своим чередом. Все как прежде. Но так казалось только в первые дни. После я по-

чувствовал, что в этой моей размеренной («все как прежде») жизни чего-то не хватает. Только через пару недель я понял, что расстался не с конкретным земляком, к которому успел привыкнуть, а расстался с ощущением радости в душе. И понял, что ощущение это происходило оттого, что беспокоился о другом, о ставшем близким человеке. После отъезда Григора я почувствовал еще и то, что письма Сирануш перестали интересовать меня. Ведь хотел я того или нет, а все время связывал их с Григором. Помню даже, когда после его отъезда пришло очередное толстое письмо, оно мне показалось каким-то неродным.

\* \* \*

На Камчатке все не так, как на материке. И цветы другие, и солнце другое, и люди. И даже отпуск на Камчатке совсем не такой, как на материке. В несколько раз длиннее. Там, кроме того, что отпуск ежегодный сам по себе предлинный, еще разрешается, например, накапливать его за три года и разом устроить себе «вечный бал». И когда говорят, что кто-то ушел в отпуск, — это значит, что раньше чем через полгода ты не увидишь его.

Именно полгода я не виделся с Гареликом. И когда после долгой разлуки я услышал по телефону его голос, то почувствовал какой-то прилив сил. Значит, жизнь обретает свою прежнюю камчатскую суть. Все входит в свою колею.

На этот раз у Гарелика не было обычных вопросов типа: «Что нового? Какие тут произошли перемены? Кто уехал насовсем? Не было ли сильного землетрясения?» Он спросил: «Как Сирануш?» Он так спросил и, не дождавшись ответа, добавил: «Впрочем, я сейчас приду к тебе».

О последних письмах Сирануш уже труднее было рассказывать Гарелику своими словами. Многое надо было читать вслух. И я читал большими кусками, опуская лишь кое-какие мелочи.

«Я часто думаю, что срок мой начался еще задолго до того, как я попала сюда. Ведь, по сути, дом мой, особенно в те дни, когда дочери и тети не было рядом, был настоящей тюрьмой. Заточила я себя, замуровала в четырех стенах и будто подгоняла жизнь, будто спешила куда. Теперь уже ясно — куда. Но только сейчас я поняла, какое это счастье — быть замурованной у себя дома в четырех стенах и знать, что рано утром пойдешь в больницу, где тебя ждут, где тебя очень ждут. Какое это

счастье — возвращаться домой, открывать своим ключом дверь и уже с порога слышать звонкое «мама» и видеть, как навстречу, роняя на ходу игрушки, захлебываясь от счастья, бежит твоя дочь. Здесь зеленые железные двери вообще открываются и закрываются без ключа. Стоит только приблизиться в сопровождении конвоира к дверям, как они открываются сами собой. Ты только успеваешь заметить, как показался в стене и как спрятался в стену железный кончик засова.

Раньше, я помню, нередко вспоминала первый день своей самостоятельной работы. Сейчас к этому дню прибавился еще один и тоже первый. Это был летний, какой-то легкий теплый день. За мной закрылся засов, и я сразу же попала на небольшую площадку, похожую на дворик какого-то предприятия. Я увидела снующих по двору женщин, одетых в довольно симпатичные, хорошо подогнанные, малинового цвета платица в белый горошек. Попадались на глаза стройные и даже очень красивые женщины. Главное — здоровый цвет лица. Ничего не могла понять

Привели меня в барак. Показали на двухъярусную койку и сказали, что мое место наверху. Чистота, как в операционной. Койки заправлены так, словно нарисованы. Словоохотливый сопровождающий сказал, что рядом строится новое жилое помещение и что там условия будут намного лучше. Простору будет больше. И света тоже больше. Я поблагодарила его за «светлую перспективу».

Место врача в лазарете было занято. И Сирануш работала в цехе, где на длинных столах почти всегда была постлана многометровая серая брезентовая ткань, на которой наносились карандашом контуры рукавиц с одним большим пальцем. Одни вырезали их ножницами, так сказать, кроили. Другие собирали и складывали вместе. Третьи уносили в соседний цех, где вечно стоял густой стрекот швейных машин. Здесь же рядом аккуратно были уложены кипы готовых брезентовых рукавиц, перевязанные бечевой.

«Девочки меня сразу приняли. День-два была в центре внимания, как все новенькие. Всем нужно знать все о новенькой. И это понятно. Лежать друг подле друга, друг над другом, друг под другом — и не знать, что за человек рядом... Есть даже одно узаконенное сострадание. Сострадание к тем, у кого на воле остались дети».

Спустя пару месяцев Сирануш перевели из закроечного цеха в текстильный. Поставили ее у станка ученицей к женщи-

не, которая через неделю-другую должна была «выписаться». Так выражалась Сирануш, пользуясь медицинской терминологией.

Настал день, когда наставница «выписалась» и станок перешел в руки Сирануш. «Не знаю, поверите или нет, но я волновалась по-настоящему. Огромный, как слон, станок — и ты одна. Гром стоит в ушах, но это только вначале: потом привыкаешь. Мы выпускаем занавески и покрывала. Красивая расцветка, неброский узор. План перевыполняю. И это очень даже выгодно. По окончании смены чищу станок, как чистят оконное стекло. Он стал мне как живой, как друг, этот ткацкий станок «АГ-175-5». Я на нем зарабатываю неплохие деньги».

В первом же письме Сирануш просила тетю, чтобы та не добивалась свиданий. Наказала только, чтобы как можно чаще фотографировала дочь и присылала карточки. Сирануш не хотела, чтобы старая тихая тетя, а тем более маленькая Сусанна видели ее в колонии. Видели ее, одетую в симпатичную униформу.

«Ни в чем я не нуждаюсь. Еды хватает. Правда, скучаю по белому хлебу. О, как скучаю по белому хлебу! Но в остальном кормят хорошо. Я бы даже сказала — кормят четко. Никаких перебоев. Есть одно поистине бабье раздолье — разрешают стирать до посинения. Это такое удовольствие, когда постель и рубашка пахнут самой свежестью, как роса. Это как ощущение свободы.

За год с лишним, несмотря на, так сказать, текучесть кадров, я подружилась, кажется, со всеми. Ведь не так уж много нас. Можно сказать, одна семья. Все разные. Есть добрые. Есть злые и даже замкнувшиеся. Но — одна семья. А дружба здесь имеет свою суть. Это когда доверяешься и начинаешь рассказывать о себе. Я никогда не знала раньше, что у человека есть такая неизмеримая внутренняя потребность: исповедоваться. Выложиться. Выговориться. Раскрыться. И такая же потребность, идущая вовсе не от праздного любопытства, — узнать о судьбе другого человека. Я даже обнаружила своеобразную схему, по которой женщины исповедуются друг перед другом. Подробности детства, о замужестве, о детях и о любви. С особым трепетом рассказывают о том, как их любили, как они любили. И это тоже потребность: рассказывая о таких эпизодах, как бы заново переживают их. Редко когда позволяют себе во время исповеди подтрунивать друг над другом. И только невероятный хохот стоит, особенно перед

сном, в тот день, когда кто-нибудь из женщин возвращается в барак после трехдневного свидания с мужем. Такие свидания происходят в специально отведенных комнатах, расположенных вне территории колонии. Я, правда, не видела, как выглядят эти комнаты. Я только видела и слышала, какое веселье царит в бараке. Если бы Вы только знали, какие вопросы летают над шатающимися от смеха двухъярусными койками! И никакой злобы».

Помогают здесь тем, кто учится. Женщина остается женщиной. К школьникам относятся как к детям, если даже школьнику за тридцать. Но меня поражало само наличие школы. В первый же день, когда я прошла по классам, по методическим кабинетам, мне в голову, помню, приходили какие-то возвышенные мысли. Я подумала о государстве, которому небезразлична судьба тех, кто вольно или невольно, умышленно или неумышленно нарушил закон. И вот школа — с пятого по десятый класс. Я своими глазами видела аттестат зрелости, который здесь получают выпускники. Никакого различия. Никаких в нем особых отметок. Это так человечно. Это даже трогательно. Пусть у Вас не создается впечатление, что я чуть ли не взялась пропагандировать место, где нынче пребываю. Я скорее себя пропагандирую. Хочу поделиться моими наблюдениями, моими открытиями. Хочу, чтобы Вы, ненавидя ханжество, не скрывали, что жизнь действительно многообразна и сложна, что в ней есть шероховатости, есть в ней и крохотная женская колония, где делается все, чтобы оберегать человеческое достоинство, где получают аттестат зрелости, который ничем не отличается от всех других аттестатов зрелости во всей стране...»

Как ни крепилась Сирануш, она с каждым новым днем все сильнее чувствовала, что уже не может переносить разлуку с дочерью. Днем еще ничего: всю себя отдавала работе. Но вот после смены ей было просто невмоготу. Несколько раз она собиралась написать тете, чтобы та привезла дочь, но уже через минуту отказывалась от осуществления подобной мысли. «Я думала о будущем. Дочери пошел четвертый. Девочка смысленная. Дети не приемлют непонятого, нелогичного. А что может быть непонятнее и нелогичнее того, чтобы ребенка показать матери и тут же разлучить их? Такая встреча могла только ранить душу девочки. Другое дело, если бы я сама могла прийти домой. Хоть на минуту. Хоть на миг. Увидеть ее. Обнять. Прижать к себе. Зацеловать».

Сирануш вскоре уже не могла совладать с желанием увидеть дочь, и непременно дома. Понимала, что это практически неосуществимо, но все равно ничего не могла поделать с собой. Понимала и то, что единственный способ не захандрить и не зачахнуть — это взять себя в руки и начисто отказаться от невыполнимого желания. Ведь большая часть пути уже пройдена. Осталось чуть-чуть. Надо выдержать. Надо вытерпеть. И сделать это во имя скорой встречи с дочерью, со свободой. Надо было терпеть еще и потому, что начальство колонии дало ей знать, что, возможно, ее переведут в лазарет. Там врач «выписывается».

Со своим коллегой, врачом колонии, Сирануш познакомилась в первый же день. Стройная высокая женщина лет сорока. Ей дали три года. Три года за сорок рублей. «В Баку было дело. Она там работала заведующей отоларингологическим отделением. Слава ее не давала покоя некоторым коллегам из других больниц. (Больные сами все знают. Им не нужна газетная реклама. Сами знают, кто есть кто: кто врач, а кто мясник.) Кое-кому она встала поперек дороги. И добились своего. Привезли ребенка. Клянчили, умоляли, чтобы операцию непременно сделала она и никто другой. Операцию сделала она. Тонзилэктомия. Через неделю ребенка выписывали. Родители занесли в кабинет заведующей преогромный арбуз и корзину с фруктами. Арбуз был такой большой, такой аппетитный, что не смогли удержаться от соблазна тут же удостовериться в оптимистическом предположении. Ожидания оправдались. На пир были приглашены врачи и сестры отделения. Выбирая из плетеной корзины сочные груши, врач увидела спрятанный там конверт. Достала. Развернула. В это время в дверях показались бодрые молодчики. Веселый и вкусный шум кабинета прекратился. Из рук заведующей был выхвачен конверт. В нем были деньги. На купюрах химическим карандашом было написано: “взяточник”.

Но дело было сделано. Она получила срок. Никуда не денешься. Сумели доказать, что она эти сорок рублей прикарманила, ибо никому не сказала о них. О том, что она и опомниться не успела, — слушать не хотели. В одном пошли навстречу: через некоторое время ее перевели в город, где находились ее родственники.

И вот пришло время выписываться врачу колонии. А я ждала нового назначения. Даже волновалась. Но не суждено было мне надеть белый халат врача поверх малинового платья в горошек...»

В последние дни Сирануш чувствовала, что ее ни на миг не покидает отчаяние. По ночам вскакивала с именем дочери на устах. К ней потихоньку подходили женщины и, как могли, успокаивали. Иные подкрепляли свои слова «железными аргументами»: мол, каждая доля секунды приближает тот сказочный день, когда Сирануш увидит свою дочь, когда она вновь в белом-пребелом халате войдет в палату, где ее по утрам будут ждать добрые глаза и искренние улыбки признательности.

Сирануш понимала, что нельзя распускать нервы. Надо считаться с суровым фактом: невозможно выбраться на волю раньше времени. Ни на один час. В колонии поблажек не делают никому. Это исключено. Таков закон. Сделай исключение одному и не сделай его другому — не будет никакой дисциплины.

Высокую ограду, обрамляющую территорию колонии, венчал замысловатый узор из колючей проволоки. Сирануш не раз поглядывала на нее. Близко подойти невозможно. Перед каменной оградой проходит в два ряда забор из колючей проволоки. Подойдешь к нему — и вмиг воздух наполняется глухим ревом.

Никто не догадывался, что вот уже несколько дней Сирануш разрабатывает план побега. Все видели, что она переменилась, стала нелюдима, молчалива. Но о ее намерениях не догадывались. Сама Сирануш хорошо знала, что ей будет за побег. Следствие. Новый суд. Прибавка к сроку. Но этого мало: в колонии изменится отношение к ней. Лишившись доверия, здесь нелегко будет жить.

«Мне было все равно, что со мной сделают. Я почувствовала, что теряю не только самообладание, но и рассудок. Я должна была увидеть дочь. Должна была. Ее многочисленные фотографии покрылись пятнами от поцелуев. Вглядывалась я в ее милую мордашку — и каждый раз повторялось одно и то же: перед глазами появлялась густая мутная пелена. Я ничего сквозь нее не могла видеть».

Убедившись, что совершить побег через многослойную ограду — дело гиблое, Сирануш стала искать ходы и выходы у проходной. И когда однажды в очередной раз открыли ворота и впустили грузовик, который регулярно увозил тюки с рукавицами и занавесками, идея созрела тут же, на месте: перехитрить экспедитора и шофера, а там и дежурных у проходной.

«В нашей колонии много лет не было никаких побегов, и, видимо, поэтому люди, выполняющие свои обязанности, ни



разу не подумали о том, что может найтись сумасшедший человек, который сам себе враг. Каждому известно: не бывает случая, чтобы не поймали беглеца. Но то, к чему готовилась я, трудно было назвать побегом в полном смысле этого слова. Я не собиралась удирать, скрываться. Действительно, я сама себе не враг. Я всего лишь хотела повидать дочь. Повидать и вернуться назад.

Я так и не решилась кому-либо поведать о своем намерении. Открыться можно лишь тому, кому очень доверяешь, кто стал близок твоему сердцу. Но человек, которому ты доверяешь, кто близок твоему сердцу, — просто-напросто помешает побегу. Он не допустит, чтобы ты совершил глупость. И еще: я боялась, что в случае чего невинным людям, как способствовавшим совершению преступления, придется отвечать вместе со мной. Вот потому-то я и действовала в одиночку.

Едва хозяева машины на мгновение замешкались, я — сама удивилась, откуда у меня взялось столько кошачьей ловкости, — взобралась через боковой борт в кузов. Быстро протиснулась сквозь гору мешков и оказалась в самом низу, на деревянных досках. Сразу же почувствовала, что мне тяжело дышать. Не хватало воздуха. Я задыхалась. Задыхалась, но знала, что придется терпеть. Терпеть, но не выдать себя, ибо уже поздно. Не рука занесена, а удар уже нанесен. И я, жадно ловя воздух сквозь щели между мешками, медленно, сантиметр за сантиметром, ползла на спине в сторону кабины. Знала: у ворот будут проверять. Дежурный поднимется в кузов и будет не просто глазеть, но и шарить по мешкам руками. Правда, иногда и не шарили, а действительно глазели. Ведь много лет не было побега. Никто не помнит.

С полчаса машина стояла во дворе. Время было предвечернее, скорее не предвечернее, а послеобеденное. Вокруг ходили заключенные в униформах, и отсутствие в такое время суток одной из них никак не могло быть замечено. В спину уткнулась какая-то железка. Но я не должна была двигаться с места, если бы даже знала, что кто-то режет ножом мне спину. Я могла позволить себе подумать об удобстве только после того, как машина двинется с места. Я думала: до ворот лежать как в гробу, потому что раньше видела, как часовые вскакивают в кузов машины прямо на ходу, когда она медленно выползает из ворот.

Мне повезло. Я лежала под мешками, чувствуя, что железка вот-вот проткнет мне лопатку, и думала о том, что мне по-

везло. Лицо мое, когда я подползла поближе к кабине, оказалось у большой щели, образовавшейся между двумя мешками, и я могла перевести дух. А это было везение. Только спину больно кололо. И любое движение только усиливало боль. Но больше всего думала о дочери. Далеко до нее. Около двухсот километров. Это ведь еще нужно добираться. Не боялась, что вызову у любопытствующих подозрение. Зимой, в зимнем еще могла бы. А так — легкое летнее платье. Одно меня волновало: уж слишком болела спина. А вдруг там, думала, кровь... Не просто давит, а режет.

Но когда машина отехала от ворот и стала подпрыгивать на ухабах, я уже боли не чувствовала. Не то она притупилась, не то я сдвинулась с прежнего места. В дороге я все удивлялась: занавески такие легкие, такие ажурные — и вдруг давят, как чугунные гири. И еще я думала о том, что впервые еду в грузовике. Не приходилось раньше. Об этом я подумала, потому что в это время мозг лихорадочно сверлила одна лишь мысль: как же я выберусь из машины? Это, наверное, только в кино люди красиво прыгают с мчащегося поезда, да и то прыгают в безлюдном месте на мягкую насыпь. А тут, я знала хорошо, машина идет по городу, идет на немалой скорости. Я инстинктивно подчинялась каким-то четким внутренним командам. Иногда казалось, что команды эти я отчетливо слышу. «Надо пробираться наверх!» Надо — значит, надо. И я начала выкарабкиваться наверх. «Вылезать из-под мешков надо головой вперед и делать это осторожно!» И я так и сделала.

Увидев свет и синее небо над головой, я крепко зажмурила глаза: боялась ослепнуть. Вначале даже подумала, что ослепла: свет и синее небо видела только мгновение, потом они исчезли. Медленно отводила от глаз полусогнутую ладонь: проверяла зрение. Все было в порядке. Я вновь увидела свет и — сквозь пальцы — синее небо. Обрадовалась.

Стала прислушиваться. Гудки машин. Скрип тормозов. Шум города. Я отвыкла от такого шума. И вдруг почувствовала страх, которого до этого не было. Все думала: как же я вольюсь в толпу большого города, где прохожие — свободные люди?

Машина остановилась. Тотчас же донеслись до меня звуки траурного марша. Мне захотелось узнать, кто умер. Странное дело, там, в колонии, почти никогда не думала о смерти. Послышались звуки траурного марша, и я ощутила жизнь. Ее реальность. Музыка звучала все отчетливее, все громче. Изловчившись и осмелев, высунула голову еще больше. Убедившись,

что из-за кабины ничего не видно, пробралась наверх и увидела, как мимо плывет широкая людская река, которая словно была продолжением густого потока автомашин. «Надо быстро и уверенно сойти с машины», — последовала внутренняя команда. Я быстро и уверенно сошла с машины. «Надо как можно скорее смешаться с толпой и делать это не суетясь». Так и было сделано.

Смешавшись с толпой, став ее составной частью, я первым делом потрогала спину. Крови вроде не было. Даже не могла определить, где же, в каком месте, так больно кололо. Постаралась посмотреть на себя как бы со стороны: вид был не то чтобы подозрительный, но жалкий. Помятая слишком была. И от страха, как от холода, зуб на зуб не попадал. Но я уже не рассуждала. Я только выполняла команды, которые давались с молниеносной быстротой...»

Поздним вечером Сирануш добралась до Гориса. Никем не замеченная, пробралась до теткиного дома. Незапертая дверь легко и бесшумно открылась. Сирануш перешагнула порог...

«Я уже писала Вам, что в детстве очень любила рисовать. Потом бросила это занятие, как только узнала, что никаких способностей у меня нет. Смелыми штрихами могла бы за минуту нарисовать какого-нибудь сказочного, ставшего штампом мультипликационного героя, тем самым приводя в восторг родных и близких, но все это, я знала, было искусственно, все было вымученно. Не было тяги. Не было души. Был самообман. Но польза от тех моих детских иллюзий была. Расставшись с мыслью стать художником, я не рассталась с любовью к живописи. У меня дома довольно солидная коллекция репродукций и открыток. Есть много великолепных альбомов. Перед тем как я попала сюда, один из моих больных обещал достать мне последнее уникальное издание — альбом “Дрезденская галерея”. Я много была наслышана об этом издании. Больше всего я любила Айвазовского и Репина. Всякий раз, когда видела Севан, вспоминала Айвазовского. Смешно это было: автор “Девятого вала” — и вдруг крохотное высокогорное озеро. Но я ничего не могла с собой поделаться. Вспоминала — и всё. Может, это было оттого, что моря настоящего я не видела? А может, оттого, что для меня Севан был живым существом и я всегда думала: Севан, как и великий маринист, — это гениальный армянин.

Когда в толпе людей я замечала какое-нибудь выделяющееся из серой массы лицо, я думала о Репине. Думала: навер-

ное, великий художник вот так в толпе выискивал лица, нужные ему для его полотен, и, найдя, радовался удаче. О Репине я вспомнила потому, что в тот момент, когда в Горисе я неожиданно появилась на пороге дома и увидела изумленные глаза тети, сидящей на тахте со спицами в руках, увидела Сусанночку, которая, склонившись над высоким столом, что-то рисовала, — в тот момент я, наверное, напоминала героя репинского “Не ждали”. Помните ссыльного, вернувшегося домой? Ведь первоначально Репин предполагал в образе главного героя показать женщину. И есть множество вариантов женских портретов, которые должны были войти в будущую картину.

Но, честно говоря, об этом я сейчас вспомнила больше для того, чтобы растянуть рассказ о встрече. Вернее, не растянуть, а отодвинуть куда-то подальше, в сторону, сам момент встречи с дочерью и тетей. Я сомневаюсь, что смогу найти слова, позволившие бы мне передать этот самый момент, которого, собственно, и не было для меня. Все было как в тумане. Помню, возвращаясь обратно, никак не могла восстановить в памяти, как все было в деталях. Перед глазами было только одно: дочь оттолкнулась от стола и с криком: “Мама, мамочка пришла!” — бросилась ко мне. После я уже ничего не соображала. Наверное, в чисто медицинском смысле это было обморочное состояние. Всегда Вы просите, чтобы я писала Вам о подробностях. Но именно подробности пропадают, исчезают в нашей жизни. Они словно выпадают. Остается нечто целое, целостное. Без деталей. Я увидела дочь — и тут уже никаких деталей, никаких подробностей, никаких мелочей не было. Было большое сладостное счастье.

Я ее искупала. Если бы Вы знали, как я мечтала об этом! Если бы Вы знали, сколько раз я в своих мечтах купала дочь! Она барахталась в деревянном корыте. Обрызгала меня всю. Громко смеялась. Громко плакала, когда мыли голову. Потом она выпила полстакана горячего молока и, разморенная, сразу уснула. А я до утра просидела у ее кровати. Рядом со мной была тетя. Она тоже бодрствовала. Мы молчали. Вернее, мы разговаривали друг с другом молча. Я вслушивалась в едва уловимое дыхание дочери, ощущала ее тепло и запах, и мое сердце вырывалось из груди, словно благодарило меня за праздник, который я ему устроила. Оно не скрывало своей радости и тогда, когда я возвращалась в колонию, и сейчас, когда я вспоминаю те праздничные мгновения...»

Сирануш искали повсюду. Был объявлен официальный розыск. Всю ночь искали ее, в первую очередь — в городе. Ведь никто не знал, что ее тетя и дочь находятся в Горисе. Суду, конечно, в свое время было известно, что ребенка возьмет на попечение тетя. Но суд состоялся давно, а о побеге узнали вечером. Так что копаться в бумагах могли начать только на следующий день после случившегося. В городе искали женщину в малиновом платье в горошек. А Сирануш возвращалась в колонию в красивом синем костюме. А платье в горошек, завернутое в газету, она несла с собой в сетке.

Все получилось, как планировала Сирануш. До самой проходной ее никто не остановил. Но ее искали. И даже в тот момент, когда она тщетно пыталась пройти на территорию колонии, ее искали не только в столице, но и по всей республике. «Ирония судьбы... Меня не пускали в колонию. Было смешно, и я смеялась. Прибыл разводящий. Появилось начальство. Я видела: они были рады. Они были очень рады, эти, в общем-то, добрые люди, носящие зеленую форму. Ругали меня. Не могли удержаться от крепких слов. Пугали. Стращали. Называли статью уголовного кодекса. Говорили, что прибавят три года. Но я все равно видела, как они рады. И радовались не из-за того, что тут же по всему городу, по всей республике будет дана команда “отбой”, которая избавит всех от дальнейших хлопот. Радовались за меня. За мою судьбу. И я не могла этого не заметить. По их же глазам. Ведь все могло быть иначе. Могли бы поймать меня в другом месте. И тогда трудно было бы поверить моим словам. А тут сама явилась. Тут, как говорится, много смягчающих вину обстоятельств».

Повторного суда над Сирануш не было. Прибыло высокое начальство и самолично беседовало с беглянкой. Уточняли только одно: не была ли еще где-нибудь кроме Гориса. Помогла арифметика. Нигде. Была лишь ночь. Остальное ушло на дорогу. А ночь она провела у кроватки ребенка. С ней беседовали, делали при ней арифметические подсчеты — не для того, чтобы оправдать, простить. Для того, чтобы наказать. Иначе нельзя. И она отсидела пятнадцать суток в изоляторе. «Но я была счастлива. Если бы Вы знали, как легко переносить наказание, когда чувствуешь за собой вину! Каким просторным и в то же время уютным казался он от сознания того, что есть люди, которые могут понять тебя!»

Последнее письмо Сирануш было относительно коротким. На двух тетрадных листах. Она писала о том, что каждый вечер

перед сном считает, сколько в оставшихся месяцах недель, дней, часов. «Это очень интересное занятие. Мозги освежает».

Но последнее письмо запомнилось мне не только потому, что оно было относительно коротким. Мне показалось, что оно было написано по привычке, по инерции. В нем, чувствовалось, не было прежнего желания исповедаться, выговориться, раскрыться. Последнее письмо запомнилось еще и другим. Оно заканчивалось сообщением, которое было сделано будто невзначай, какой-то скороговоркой. Начальство колонии ей передало, что кто-то упорно добивается с ней свидания. «Ума не приложу, кто это может быть. Ведь у меня на этом свете, кроме дочери и тети, никого больше нет».

\* \* \*

Вот уже больше года я живу в Ереване, но все никак не могу перевести свои «биологические часы», никак не могу привыкнуть к новым условиям. Или, как говорят ученые люди, «к качественно новым условиям». Расставаясь с Камчаткой, где провел многие годы, я в чем-то расставался и с самим собой тоже. Со своими привычками, одеждой, любимыми блюдами, друзьями, в каждом из которых осталась частица меня; с их характерами, даже с их голосами. И когда в моей ереванской квартире раздался телефонный звонок, мне показалось, будто я нахожусь еще на далеком полуострове. Мои «биологические часы» показывали в этот миг камчатское время, которое с ереванским расходится на восемь часов. Голос в трубке был не какой-нибудь, что называется, «специфический». Голос был... камчатский. Я его, этот голос, впервые услышал на Камчатке, и тоже по телефону. А память на голоса у меня неплохая.

Это был Григор. Он не дал мне и слова сказать. Тонем, не допускающим возражений, он приказал никуда не выходить, пообещав минут через пятнадцать приехать за мной. Я хотел было что-то вставить, но он меня перебил: «Если мы сейчас же не увидимся, то мир перевернется».

Мир не перевернулся. Минут через двадцать мы с Григором ехали к нему домой. По дороге говорили о жаре, о футболе, о том, как изменился Ереван.

На стене висели две фотографии. Одна — в широком с позолотой, но уже почерневшем багете, другая — в тонкой простенькой рамке. На первой — светленькая девочка лет пяти-шести с тугими веснушчатými щечками. Округлое белое лицо едва отражало улыбку, которую выдавали прищуренные глаза,

прикрытые длинными ресницами, да чуть вздернутые кверху уголки пухлых губ, образующие крохотные ямочки. Лицо девочки притягивало к себе. На него хотелось смотреть и смотреть. И хотелось не просто смотреть, но и разгадать тайну: почему оно так притягивает к себе... И, кажется, мне удалось разгадать ее. Лицо девочки выражало неподдельное счастье, которое на нем было почти осязаемым. Редко когда человеку удается вот так явственно разглядеть само счастье.

На другой фотографии, висевшей рядом, но чуть повыше, была молодая женщина. Все было обычным в этом лице. И небольшой прямой нос, и некрашенные губы, и аккуратно уложенные темные с проседью волосы, и какая-то дежурная улыбка, которую обычно через силу дарят фотографу. И только глаза, казалось, не соответствовали лицу. Они словно были чужие. В них, несмотря на искусственную (если не сказать — дорисованную) улыбку, было так много грусти и печали, что создавалось впечатление, будто они перенесены сюда с другого лица.

Пока хозяева дома — муж, жена и маленькая девочка лет шести-семи — сутились на кухне, я, как это бывает в таких случаях, чтобы свыкнуться, открыто разглядывал обстановку: книги, картины, фотографии, чеканку, развешанную на стенах, расставленную на мебели. Медленно передвигался по комнате и все ловил себя на том, что меня зовут к себе те две фотографии. И я вновь и вновь возвращался к ним.

Я, конечно, догадывался, что на стене друг подле друга висят фотографии одной и той же женщины. И догадывался не только потому, что маленькая девочка и взрослая женщина, несмотря на солидную разницу в возрасте, все же очень похожи. Просто я знал, что хозяйка дома была в детстве светленькой, и еще знал, что она именно в пять-шесть лет была очень счастливой. Именно такой, как на снимке.

Перед тем как садиться за богато и красиво сервированный стол, который, как я обратил внимание, накрывался с быстрой волшебной скатерти-самобранки, Григор сказал, что нынче двойной праздник.

— Чем же он двойной? — спросил я.

— Как же: встреча с другом и еще сегодня день рождения нашей Сусаночки.

— Чего же ты раньше мне не сказал? — воскликнул я, чувствуя искреннюю неловкость.

— Это уже мелочи. Главное, что ты сейчас с нами.

Я подошел к девочке, присел перед ней на корточки и сказал:

— Сусанна-джан, мы непременно сегодня же поедem ко мне, и я тебе подарю большую красивую книгу. Такой у вас дома нет. Это я точно знаю.

— А как она называется, большая книга?

— Называется она «Дрезденская галерея». В ней очень много интересных картин. Когда ты вырастешь, они тебе очень понравятся.

— А мне картины и сейчас нравятся. Я очень люблю рисовать. И папа всегда развешивает на стенах мои рисунки, — сказала девочка и бросилась к Григору.

Я приподнялся и неожиданно увидел перед собой хозяйку дома, стоящую с подносом в руках. Она улыбалась. Уголки губ слегка приподнялись, образуя крохотные ямочки. Я посмотрел на стену, где висела фотография маленькой девочки...